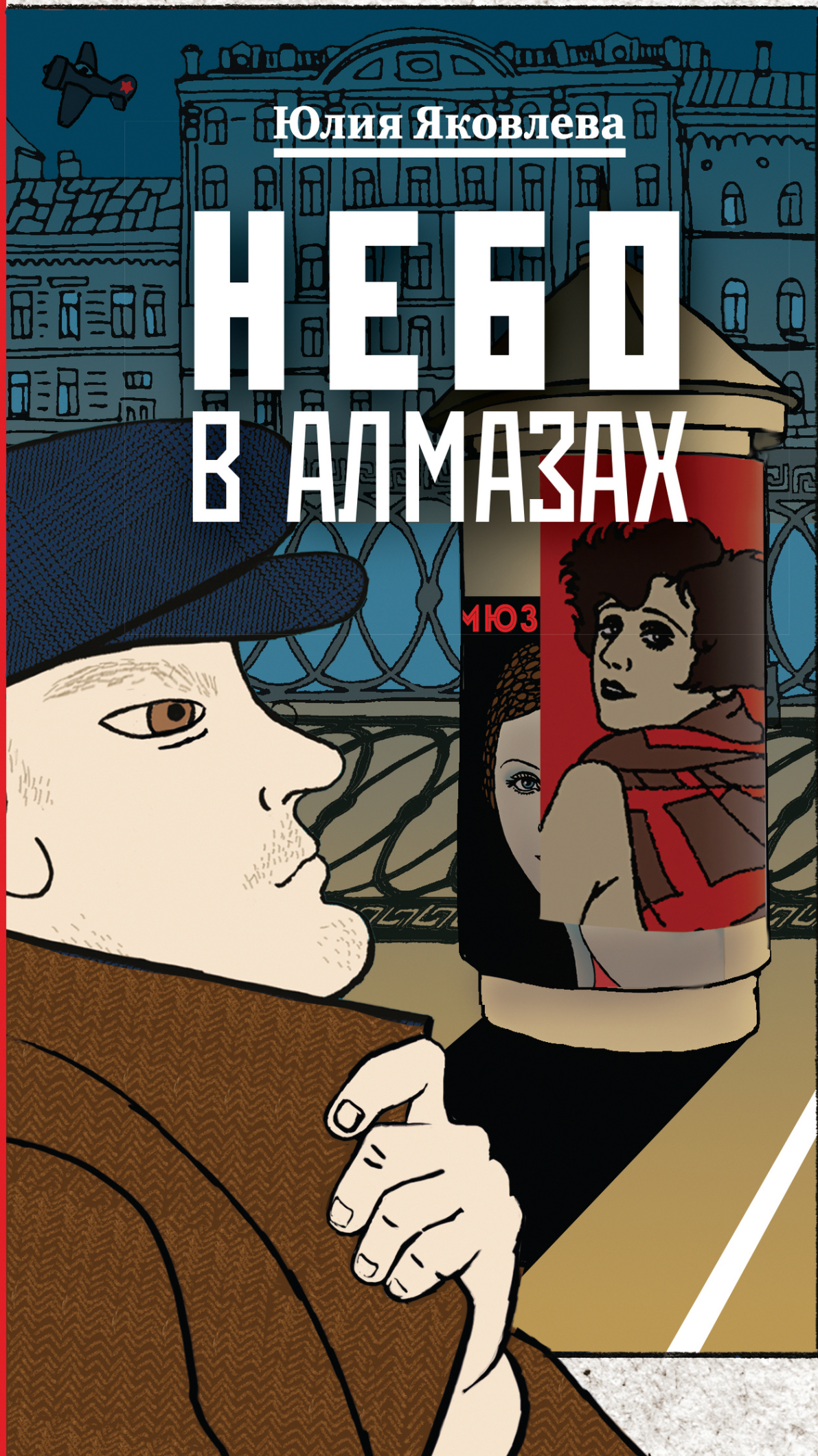


Юлия Яковлева

НЕБО В АЛМАЗАХ



Хранить вечно. Криминальное ретро Юлии Яковлевой

Юлия Яковлева

Небо в алмазах

«ЭКСМО»

2018

УДК 821.161.1-312.4
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Яковлева Ю.

Небо в алмазах / Ю. Яковлева — «Эксмо», 2018 — (Хранить
вечно. Криминальное ретро Юлии Яковлевой)

ISBN 978-5-04-096886-2

Страна Советов живет все лучше, все веселее – хотя бы в образах пропаганды. Снимается первая советская комедия. Пишутся бравурные марши, ставятся жизнеутверждающие оперетты. А в Ленинграде тем временем убита актриса. Преступление ли это на почве страсти? Или связано с похищенными драгоценностями? Или причина кроется в тайнах, которые сильные нового советского мира предпочли бы похоронить навсегда? Следовательно угрозыска Василию Зайцеву предстоит взглянуть за кулисы прошлого.

УДК 821.161.1-312.4
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-096886-2

© Яковлева Ю., 2018
© Эксмо, 2018

Содержание

Глава 1	6
Глава 2	10
Глава 3	15
Глава 4	23
Глава 5	33
Глава 6	39
Конец ознакомительного фрагмента.	41

Юлия Яковлева

Небо в алмазах

© Яковлева Ю. 2018

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2018

* * *

«В 1933 году в Ленинграде был и репрессированы 885 человек, 115 впоследствии расстреляны. Эта книга посвящается памяти Николая Федоровича Загорского, просто человека из списка».

Юлия Яковлева

Глава 1



«ОПАЛЫ ПРИНОСЯТ НЕСЧАСТЬЕ»

...вакханки и гладиаторы дружно повернули головы, и даже Сашенька приподнялся из своего кресла. Так громко она крикнула. А засъемщик от неожиданности перестал вертеть ручку.

Она словно не заметила черно-белый «колизей», намалеванный за моей спиной. Шурша платьем, бухнулась на колени. Не из раболепия, конечно, а потому что ноги ее не держали.

– Вар... Вар... – стучали зубы. Я отцепила ее холодные пальцы от края туники. На подоле заметила кровь: она порезала руки об вышивку, но сама того даже не заметила. Мусю, горничную Верочки, била дрожь. Я кивнула Сашеньке, гневно разевавшему рот.

– Пять минут, – пыхнул он. Сашенька никогда не умел злиться на меня по-настоящему! С тех самых пор, как свою фирму в Москве открыл Ханжонков.

Вакханки уже набрасывали шали на плечи, покрывшиеся гусиной кожей. Гладиаторы спешно закуривали. С хлопком погас горящий фонарь. Глазам сразу стало непривычно темно от петербургского дневного света.

– Муся. Теперь по порядку.

Следовало, конечно, надавать ей по щекам. Она была в истерике.

– Сказали: только вас. Только вы.

Потащила меня к выходу. Я только и успела схватить со спинки кресла свой соболий палантин. Свою шляпу.

Я терялась в догадках. У Верочки не было повода меня любить. Более того, в ее ко мне высокомерном презрении я до сих пор была вполне уверена. Что же это вдруг? И почему она в Петербурге? Дело было, по всему, нешуточное. Что ж, решила я, – меня жгло любопытство, – Сашенька подождет. Ему не впервой. С тех пор как свою фирму в Москве открыл Ханжонков.

Мои ноги в трико тут же ужалил морозец. Я весело глядела на свои сандалии – на снег. Соболиный мех ласкал щеки.

– Извозчик... извозчик... – лепетала она.

И тут я все-таки дала ей пощечину.

Она захлопала глазами. Но заткнулась.

– Муся. Я еду с вами, даже толком не выяснив, в чем дело. Вижу только, что дело серьезное и личное.

Она закивала. Опять вцепилась в меня:

– Нельзя, чтобы видели. Нельзя!

Актрисы так называемых серьезных театров – жрицы искусства – помешаны на том, чтобы выглядеть весталками. А сейчас к тому же дело, похоже, было правда плохо, и Верочка дала горняше исчерпывающие инструкции. Я терялась в догадках.

Махнула рукой Мишелю. Он тотчас опустил на глаза очки – больше для форсу. Загремел мотор моей «Изотты». Такая машина цвета шампанского была только у меня. Сашенька был щедр. С тех пор как Ханжонков открыл свою фирму в Москве.

Горняша побелела. Если только можно было побледнеть еще больше. Глядела на машину словно на дракона.

– Нельзя!.. Она в опасности! Жизнь или смерть. Все должно быть в тайне.

«Подпольный аборт?» – подумала я, ставя ногу на ступеньку. Значит, поэтому она и прикатила из Москвы – к петербургскому абортмахеру. Шито-крыто. Дело плохо.

– Вот что, Муся.

Я продела булавку в шляпку. Накинула на колени меховой плед.

– Если увидят, как я тащусь куда-то на извозчике, об этом будет говорить весь Петербург. Нет. Только авто!

Она мешкала.

– Чтобы никто ничего не заметил, положи это на самое видное место.

Горничная тупо смотрела. Не понимала, что я говорю.

– ...Полезайте же!

Я стукнула в спину Мишелю. Горняша плюхнулась, потеряв равновесие, на подушки из шкуры белого медведя. И моя «Изотта» понеслась.

Мы пролетели мимо Петропавловской крепости. Потом по мосту. На Невском Мишелю пришлось давить грушу гудка изо всех сил. Наконец оказались на Морской.

Муся потащила меня к черному ходу. Я решительно шагнула к парадной двери. Ее уже распахивал швейцар. Если надо сохранить визит в тайне – не прячься!

Верочка сразу бросилась ко мне. Вне сцены она казалась бледнее и старше. Морщины вокруг глаз, губ, да и на лице как-то многовато лишней кожи. Что поделать, театральный грим старит быстрее, если не принимать особых усилий.

– Варенька! Вы одна мое спасение!

И взмахнула руками:

– Не спрашивайте, не спрашивайте.

Лоб в испарине. Крови было не видно.

Пока не видно.

– Едем, – быстро приказала я. В таких случаях нужно действовать быстро. Быстро и решительно.

Верочка запихнула в ридикюль черный замшевый мешочек. Муся накинула на нее шубу. Приколола шляпу.

– Я не могла одна... Туда, – лепетала она в авто. Я держала ее горячую руку. Вынула из рукава платок, промокнула ее лоб.

– Я никого не могла просить. Такое сомнительное дело... Только вас. Ведь вам нечего терять... К тому же вам не поверят.

«Спасибо, милый комплимент», – но я не дала своей руке остановиться – промокала ее лоб. Похоже, в горячке она не соображала, что несет – выкладывала то, что было на уме.

– А он...

Она дернулась, будто я приложила к ее лбу не батист с кружевами, а каинову печать. Я даже выронила платочек. Он исчез где-то у нас под ногами.

Я не спрашивала: «знает». Ясно, что не знает.

– Не должен знать... Он необыкновенный человек.

Даже за бурчанием мотора было слышно, как клацают ее зубы. Ох уж эти артистки драмы! У них все необыкновенно. Адрес был мне незнаком. Кто же ее любовник? Если такая деликатность, такая конфиденциальность.

Невский, мост, Петропавловка, особняк Мали Кшесинской промелькнули в обратном порядке. Адрес был фешенебельный: на Каменноостровском, в одном из этих модных гигантов, снабженных всем, вплоть до грузовых лифтов и электрических картофелечисток.

Щегольская секретарша провела нас в приемную. Доктор оказался французом. Верочку увели.

Я смотрела вниз сквозь двойное стекло – на Каменноостровский проспект: на поток извозчиков, шляпы дам, конки, мешанину прохожих. Скоро здесь будет теснее, чем на Невском.

– А вы?

Я обернулась. Секретарша улыбалась рекламной улыбкой. И это деликатность?

– Мне кофе. Благодарю, – холодно приказала я.

– О.

Она вернулась с кофе. И опять выжидаяще засияла.

Я взяла чашечку с подноса.

– Ваш бюст выглядит превосходно, – заговорила она. – Но смею заметить, что нет предела совершенству и пышности.

В таком месте тебя неизбежно примут за содержанку. А может, дрянь просто позавидовала моей шубе.

Она раскрыла передо мной брошюру. Я не глядела, куда показывал ее наманикюренный пальчик. На что там глядеть? Стадии развития плода? Увольте.

А потом опять заговорила. Я не поверила своим ушам:

– Свиной – что?

Но тут уже вышла Верочка. Она старалась не глядеть на доктора. Тот ухмылялся – я бы сказала «сально», но не люблю дешевые каламбуры.

– Все превосходно. Небольшое воспаление, не более того.

– А если они... опять?

– Я выровнял форму и размер. Никакого беспокойства. Теперь можем считать дело завершённым.

И многозначительная пауза.

Верочка не глядя подала ему замшевый мешочек. Доктор ловкими пальцами тут же развязал тесемку.

– Надеюсь, этого довольно, – бормотала Верочка; похоже, все обошлось, и теперь ей явно не терпелось уйти отсюда. А у доктора в горсти сверкнуло.

– Мадам, – сухо заговорил он. Бросил красноречивый взгляд на секретаршу. С ее лица тотчас пропала любезность. Оно стало суровым. Секретарша быстро прошла через комнату и крутанула в двери ключ.

Верочка беспомощно смотрела на доктора. Видимо, взгляд из спектакля «Волки и овцы». Спектакль я не видела, но взгляд точно был овечий.

– Платите.

– Вы... вы... Это бриллианты и опалы.

– Это стекляшки.

Теперь уже секретарша смотрела на Верочку как на вошь.

– Этого не может быть, – шла пятнами та. – Мне подарил их...

Имя впечатляло. Вот почему тайна: князь Ахтынцев ужасно разбогател на железнодорожных кредитах. Ему прочили министерский портфель. Но доктор был французом и, оче-

видно, плохо знал, кто в России кто: большой минус при его профессии. Я тотчас мысленно предсказала ему скорое разорение.

– Мадам. Платите. Или мы зовем полицию.

– Не может быть, – все шептала Верочка. Она была на грани обморока.

А стерва сняла телефонную трубку.

– Пойдите, – остановила ее я.

Вынула из ушей серьги. Уж в них-то бриллианты-солитеры были точно настоящие. Сашенька, с тех пор как Ханжонков открыл свою кинофирму в Москве, не стал бы так рисковать, как князь Ахтынцев... Француз и его секретарша обменялись взглядами. Я протянула серьги одной рукой, не глядя.

– Берите. Ну!

Жест был как надо. Жест римской императрицы. Про голос – не уверена. В кино не нужен голос. Ни у Сашеньки. Ни у Ханжонкова.

Тварь передала ему серьги. Он глянул. Взгляд опытного выжиги. И опустил в карман.

– А это я забираю. На память, – я сгребла из его руки ожерелье: стеклянные опалы, стеклянные бриллианты.

Схватила почти бесчувственную Верочку.

– Ключ.

Тварь отдала, робко оглянувшись на своего господина.

Мы вышли в прихожую. Я посмотрела в высокое напольное зеркало. Верочка была пунцовой, как драпировки в серьезном драматическом театре. И можно поклясться, ее краснота была полностью натуральной.

Только лишь она и была.

Что ж, за ее фальшивый бюст, наполненный свиным жиром, князь расплатился с Верочкой фальшивыми бриллиантами. А ведь мог бы настоящими, недоумевала я. Но видно, поэтому князь миллионщик, а я нет. Таким образом Верочкину связь можно назвать бескорыстной.

Это прелестно! Я расхохоталась.

Верочка недоуменно глядела на меня: не истерика ли?

Не могла же я объяснить ей, что меня насмешило.

– Грим, – показала на зеркало я. – Я уехала прямо с фильма.

Мое лицо покрывал толстый слой желтой пасты. Только она на пленке и выходит белой, как кожа.

Хотела вынуть платочек, промокнуть размазавшуюся пасту. Да вспомнила, что еще в авто его обронила.

Глава 2



«...Стало понятно, что...»

Палец завис. Пишмашинка скалилась на Зайцева стертыми коренными зубами, пережевывавшими тонны отчетов, протоколов, заявлений. Наконец он нашел запропастившуюся букву «ж». Подковырнул запавшую клавишу. Треснул одиночный выстрел. «Стало понятно, что ж». Обе руки легли у подножия машинки, будто только того и ждали.

Лохматая голова Нефедова просунулась в дверь. Сонные глазки посмотрели. В них не мелькнуло ничего. Выражение было обычным – никаким. Посмотрел – и беззвучно пропал, как сова в дупле.

Руки так и не ожили. Две дохлые белые рыбины. Таким усилием воли можно было бы сдвинуть дом. Зайцев поднял руки, опять занес их над клавиатурой. Оттопырил указательные пальцы. Бумаги машинка пережевала тонны, а печатать толком он так и не научился. Щелкал двумя пальцами. Его это устраивало.

Ж – что он хотел сказать? – мысль щелкала вхолостую. Он ее упорно натягивал на зубчики, а она так же упорно соскальзывала.

Зайцев посмотрел на зубы пишмашинки. Рассказ о закрытом деле казался ненужным, ничемным. Всё казалось таким. Тусклым. Словно в той поездке на юг, когда ловил убийцу рысаков¹, он получил пробоину, и вот с год уже через нее уходили силы. Он ходил на службу, больше того – служил, ловил бандитов и не проваливал заданий. Но при этом то и дело настигало чувство, будто он отстает от самого себя: двигается и одновременно тупо смотрит со стороны, не понимая, зачем все это.

– Вася, ты оглох?

Зайцев чуть не подпрыгнул на стуле. Теперь в двери маячил Самойлов. Баки топорщились, придавали круглой самойловской роже нечто кошачье. Не сытый домашний кот, а из подворотни: у которого уши рваные, морда в старых шрамах, шерсть клочьями – а походка неслышная. И когти наготове. Со своими Самойлов их выпускал чуть-чуть – поддевал, подкалывал, но никогда до крови.

– Не дают покоя лавры Алексея Толстого? – тут же принялся за него Самойлов. – Или Льва? Роман там, что ли, пишешь?

– Чего?

– Успеется. Отлепляй задницу, писатель. Общий сбор трубили. Не слышал, что ли?

¹ Подробнее об этом читайте роман Ю. Яковлевой «Укрощение красного коня».

Не слышал, удивился Зайцев.

– На Красных Зорь жмур.

И не дожидаясь вопроса:

– Подробности письмом. Давай, подгребай.

Впрочем, вопроса он бы и не дождался. Зайцев поплелся к двери. Можно сбежать от скалящейся челюсти.

Одно хорошо: после той его южной командировки отношения в бригаде, вернее между ним и бригадой, снова потеплели. Стали почти как были. Насколько это возможно, когда в бригаде бывший гэпэушник и все думают, что ты тоже как-то туда впутался – то ли насадка, то ли сам под колпаком. Почти хорошие отношения, короче.

Мотор уже гремел. Все сидели по местам. Нефедов, как всегда, на отшибе. Зайцев опустился рядом на дрожавшее каленое сиденье. Совиное личико не повернулось. Разговор не прервался. Впрочем, Нефедова в него и не принимали: он лишь слушал.

Зайцев нехотя подал голос:

– Кто убитый – уже известно?

– Убитая.

– Да.

– Нет, – все три ответа прозвучали одновременно.

– Актриска какая-то старая.

Зайцев откинулся на спинку, стал глядеть в трясущееся окно. Разговор взял философский поворот.

– Старая актриса. В этом есть что-то грустное. Нет? – Настроение у Серафимова, видимо, было философское. Опять с похмелья, предположил Зайцев.

– Чего грустно? Пожила до старости – пора и помирать, – проворчал Самойлов.

– Раз кокнули, значит, не пора, а помогли.

– Как посмотреть.

– Как ни смотри. Ножик в груди.

– Откуда сведения?

– Дворник. Он вызвал.

Автомобиль преодолел месиво проспекта 25 Октября. Выбрался на мост. Полетел на Петроградку между небом с косо висящими чайками и водой. Голубым на голубом сверкали купола мечети.

– Старые ведьмы обычно живучие. Уж мхом вся покроется, грибами, а всё коптит небо.

– Когда молодая жизнь обрывается, как-то обиднее.

– Жизнь есть жизнь, – строго произнес Крачкин. И все заткнулись. Автомобиль въехал – мимо дворника – в ворота с граненым фонарем на толстой цепи.

Зайцев вылез первым.

Дворник перебежал к парадной. И теперь стоял навтыжку там. Поджидал подходивших один за одним агентов.

– Это я вас вызвал, – торжественно сообщил он.

Зайцев замедлил шаг, задрал голову. Фасад был одновременно мрачным и щегольским. Такие дома любили строить как раз перед революцией. Тогда Каменноостровский – ныне улица Красных Зорь – пошел в рост, в моду.

На него сзади налетел, толкнул Самойлов. Рассердился:

– Вася, что ворон ловишь?

И обошел, как досадную помеху.

– Вы болеете? – еле слышно спросил Нефедов, не поворачивая головы.

– Я? – удивился Зайцев. – Нет. Ты чего, Нефедов?

Он догнал Крачкина, догнал Самойлова, Серафимова.

– Какой этаж, уважаемый? – обратился к дворнику.

– Так это... Ее этаж.

И пояснил загадочные слова понятным жестом:

– Тудыть.

Квартира была на третьем этаже. Когда-то самая дорогая и роскошная во всем доме. Зайцев посмотрел себе под ноги. Медные скобы в каменных ступенях говорили, что в дореволюционное время на лестнице лежал ковер. Крачкин закапризничал:

– Я лифт возьму.

– Ножки не несут? Чемоданчик ручки оттянул? Смотри, уволят со службы. За физической несостоятельностью.

– Не работает лифт, – прогудел дворник, топтавшийся тут же, совавший нос. – Слесаря вызвали, а он не идет.

Но Крачкин уже утопил кнопку, и в кабине, обшитой резными панелями, зажегся свет.

– Заработал, – удивленно отозвался на явление дворник, точно лифт был вроде радуги – никак не зависящей от воли простых смертных.

– А мне, Самойлов, ножки не нужны. – Крачкин шагнул в лифт, семейное сходство которого с фонарем во дворе было несомненным.

– Это тебе ножки нужны, вы за бандитами бегаете. А моя сила – здесь, – показал он себе на лоб. Лифт, лязгнув, понес его наверх.

Встретились на площадке почти одновременно.

– ...Но ты, Самойлов, конечно, не понимаешь, о чем я, – закончил свою мысль Крачкин. – Там у тебя ничего нет.

– Открывай, – приказал дворнику Зайцев. И тот с ключом поднырнул под локоть. Дверь в квартиру, высокая, резная, сестрица дубовых панелей в лифте, была испещрена табличками с именами жильцов: коммуналка. В каждой комнате – по семье, прикинул Зайцев. Всё как везде. Таблички с фамилиями жильцов были деревянные, картонные, а некоторые и вовсе не таблички, а просто клочки бумаги. Только одна – богатая и медная. «В. Берг». Бывший владелец всей квартиры, надо полагать. Бывший адвокат, предположил Зайцев, или инженер. Революция от щедрот своих оставила ему одну комнату в его же бывшей – национализированной квартире. И наградила соседями.

В проем виден был холл и обширный коридор. Двери, двери, двери. Из кухни клекотала жизнь: негромко переговаривались, что-то хлюпало, пахло едой.

«Для квартиры, в которой лежит труп, как-то больно тихо», – не понравилось увиденное Зайцеву. Обычно жильцы норовили везде сунуться, все увидеть. Наперебой лезли с советами и подозрениями.

Он вошел. Соседи стояли на кухне – агоре любой ленинградской коммуналки. Тихо переговаривались. Умолкли, увидев гостей.

– Кто мертвую нашел?

Зайцев сознательно избегал слова «убитая», пока факт не установлен достоверно. Молчание.

– Я, – отозвалась немолодая женщина: куб юбки, на нем куб кофты. И сунула красный хлюпающий нос в скомканный платочек.

– Самойлов, – показал подбородком Зайцев: и без слов ясно – в первую очередь поговорить. Самойлов кивнул.

Зайцев задержался в дверях кухни. Оглядел. Важно схватить – не обдумывая – первое, самое острое впечатление от соседей, от жилья. На этой кухне порядок был безупречным. Ни хаоса разномастных столов и кастрюль. Ни веревок. Медный блеск утвари. Шкафы. Как будто и не коммунальная кухня, которую делят двенадцать семей и у каждой – свой недостаток, свое

хозяйство, свои привычки. Плачущей женщине уже подносили кружку. Об эмалированный край стукнули зубы. Обдумать можно потом.

Дворник отпирал комнату. Зайцев поспешил.

Нефедов, Серафимов и Самойлов замерли на пороге. Словно оробели. Из двери в коридор ложился клин дневного света, и все трое казались черными силуэтами. Зайцев встал четвертым. И понял, почему они не решались войти.

Некуда было.

До самого высокого потолка в лепнине комната была заставлена мебелью. Стулья на креслах. Кресла на столах. Тумбы на диванах. На шкафах – растопылив негнущиеся ноги – какие-то кушетки. Шаткие зеркала и еще более шаткие ширмы. Вверх уходили горы, утесы, пирамиды. Топорщились ножки. Столешницы и стенки намечали тупики. В просвет мелькнуло бильярдное сукно – ставшее от пыли армейским, серым; шары напоминали окаменевшую кладку доисторического ящера. И снова непролазная чаща деревянных ножек разной толщины. Свисали какие-то бархатные, шелковые тряпки – то ли шторы, то ли платья, заткнутые куда попало. Да уже и непонятно было, где верх, где низ, где право, где лево – сплошной лабиринт, сложная конструкция из дерева, тугих шелковых валиков, бронзы. Поблескивала гранеными сережками люстра, она отражалась в покривившемся зеркале, на полированных плоскостях дрожали повсюду ее солнечно-бриллиантовые искры. Единственный просвет в мебельном хаосе соединял кровать и люстру как воздушная колонна.

Нестерпимо пахло пылью.

Первым справился Серафимов:

– Не дай бог на бошку что ляпнется.

Узенький – едва поставить ногу – проход вел к кровати. На ней и лежала мертвая старуха: под светлой шалью вздымались ступни, нос.

И торчала рукоять ножа.

– Трогали мертвую? – обернулся на дворника Зайцев.

– Никто не трогал, ваше выскблдие, – пробормотал дворник, которому зрелище причудливого лабиринта, очевидно, вышибло из головы последние пятнадцать лет.

Зайцев, Крачкин, Самойлов быстро переглянулись. А лицо-то накрыто шалью. Самойлов едва заметно кивнул: пощупать в разговоре с соседями.

Зайцев шагнул – и чуть не споткнулся о голову белого медведя, скалившую зубы. Саму шкуру не видно было под гнетом диванов, буфетов, козеток, шкафов.

Втиснулись и остальные. Они все поднимали подбородки, все вертели головами. Отчасти дивясь складу. Отчасти опасаясь шарахнуть обо что-нибудь головой или еще хуже – вызвать оползень.

– Коробочка, – высказался Серафимов. Весь белокуро-розовый, как вербный херувим, в полном соответствии поповской фамилии – слишком длинной, поэтому все в угро давно звали его Симой. Если бы у Зайцева спросили имя-отчество его сотрудника, он бы затруднился сразу ответить. Сима и Сима. Бог весть как Серафимову и на службе в угрозыске удавалось выглядеть все таким же свежим, пасхальным: свидетели ему выбалтывали все. Таково, не без зависти подумал Зайцев, свойство больших круглых голубых глаз – все думают: дурачок. Серафимов тоже как раз начал ходить в вечернюю школу и там как раз проходили «Мертвые души» Гоголя.

– Плюшкин, – поправил его Самойлов, который начал туда ходить на год раньше. Иначе грозили срезать оклад. – То есть Плюшкина. А может, вообще старуха-процентщица.

«Преступление и наказание» Самойлов уже прочел.

– Что старость с людьми делает, – не удержался даже всегда молчащий Нефедов. Ему, как обычно, никто не ответил.

– Не дай бог до такого дожить, – пробормотал Серафимов. – Лучше пусть меня подстрелят в юные годы.

– Типун тебе на язык.

– Елки-палки, – Зайцев искал, куда бы поставить ногу. – Да как тут обыск-то вести. Тут бы не угробиться. Ног бы не переломать.

– Гляньте, – показал Крачкин. Стиснутый со всех сторон, виднелся рояль. На нем стояли и валялись, как давно упали и опушились пылью, фотографии в рамках. Все они изображали одну и ту же красавицу. Жизнь, которой давно уже не было. Моды, которые давно уже не носили. Она с густо подведенными глазами. Она в шляпе размером с колесо. Она в коляске, запряженной страусом. Она в авто. Она в обезьяньей шубе. Она...

Но сам Крачкин больше не смотрел на фотографии. Он озадаченно хмурился.

– Тьфу, – сказал Серафимов. – Как людям не стыдно?

– Правильно сделала. Зато в старости было что вспомнить, – выказал себя знатоком женской психологии Самойлов.

Взгляд Нефедова блуждал по горным нагромождениям мебели, нагая красавица в рамке не заинтересовала его.

– Тьфу, – повторил фотографии Серафимов, оправдывая поповскую фамилию.

Поднимая ноги, как журавли на болоте, все углубились в диковинную комнату. Наконец Зайцев добрался до кровати, на которой лежал труп. «Старая актриса. В этом всегда есть что-то печальное», – подумал он – в словах Серафимова была правда. На миг ему показалось, что легкая шаль вздымается дыханием. Нет, конечно, показалось. Протянул руку и за уголок отвел шаль с лица мертвой.

Сердце у него ухнуло.

Не было старухи.

Прекрасное нежное лицо было спокойно. Волны волос. Тень от ресниц. Капризный рисунок губ. Белые холеные руки с миндалевидными ногтями. «Да ей от силы тридцать с хвостом. Ну, сорок самое большое», – оторопело разглядывал ее Зайцев.

Было жутковато. Как будто перед ним лежала гоголевская Панночка.

– Эх, – покачал головой Крачкин, – Сик транзит gloria мунди.

– Чего-о-о?

– Эх, Варя, – грустно-удивленно сказал Крачкин, глядя на убитую.

– Крачкин, знакомая?

Тот лишь покачал головой. Теперь у тела стояли все.

– Это же Варя Метель.

На него посмотрели Самойлов, Серафимов, Зайцев, Нефедов. Лица, как одно, напоминали костяшку домино «дупель пусто».

– Сопляки, – ответил Крачкин. – Вы даже не знаете, кто это.

Зайцев глядел на мертвое молодое лицо.

– Но хоть имя? Имя-то слышали? Вы что, в кино не ходили?

– Женский пол спрашивать надо, – пробурчал Самойлов. – Я такой галиматьей не интересуюсь.

– Думал, она померла давно, – пожал плечами Серафимов.

«Почему мы вообще решили, что едем к старухе?» – с досадой думал Зайцев, не любивший поспешных выводов – всегда вредных в работе. И сам себе ответил: потому что Россия, которая ее боготворила, ушла вместе со шляпами колесом, неуклюжими лупоглазыми драндулетами, адвокатами с Каменноостровского, своим кино. Ушла так быстро и полностью, будто всё это было очень-очень давно. А не каких-то пятнадцать лет назад.

Перед ними лежала Варя Метель. Теперь уже забытая звезда дореволюционных немых фильмов.

Глава 3



Все зачарованно смотрели на мебельные кручи. На льдисто-бриллиантовую громаду люстры, под которой в столбе света плясала золотистая пыльца. Не могли пошевелиться.

– Ну что ж, товарищи, – разбудил сам себя и остальных Зайцев, – ножки, так сказать, в руки. Задача номер два: улики.

– А номер один?

– Выйти живыми.

Никто не двинулся.

Крачкин осторожно погладил пальцем полированную ногу в резных лилиях. Она торчала у него перед глазами. Но был ли это стул, кресло, трельяж или вовсе этажерка, не понять: туловище уходило вглубь, задавленное деревянным хаосом. Крачкин растер между пальцев пушистую пыль. Перспектива двигать мебель его не радовала.

Зайцев вынул из кармана платок. Обхватил через него рукоять. Тянуть пришлось с силой – нож вошел глубоко.

– Орудие убийства у нас, по крайней мере, есть. Пакуй, Крачкин.

– А тело перенесли, – заметил Крачкин, принимая нож. – Не сама же она на кровать так легла.

– Угу. И лицо себе шалью накрыла.

– Нож тяжелый, – взвесил в руке Крачкин. Оглядел лезвие.

– В рукояти наверняка напайка. Серьезная штука... Ладно, поехали.

Принялись. Про покойницу, осмотренную (других ран на теле не обнаружено) и опять из деликатности накрытую шалью, быстро забыли. Не до нее. Работали медленно. Сперва пробовали. Потом расшатывали, как зуб. Потом проверяли, куда уходит и с чем сцепляется. Не потянет ли за собой какого-нибудь дубового монстра. Подвигали, поправляли, приподнимали. И только убедившись, что безопасно, тянули. Передавали по цепочке. На выходе вещь принимал милиционер Сарафанов, вызванный на подмогу. Обыск напоминал переезд комиссионного магазина. Разбор завала после наводнения. Разбор баррикады. Инвентаризацию в музее.

– Не забываем отмечать подозрительное, – прокрихтел Зайцев, удерживая угол полосатого дивана. – Собирать улики.

Пока что вещи просто ставили в общем коридоре. Огромном, хоть тренируйся для марафонского забега.

Вызваны были также недавно зачисленные Охотников, Кукушкин и Зак. Но они так и болтались пока в коридоре. Делали вид, что помогают Самойлову опрашивать подозрительно невозмутимых соседей. «Перенимали мастерство», как распорядился Зайцев. Протиснуться в комнату все еще было трудно.

Зайцев, Крачкин, Нефедов и Серафимов решили сначала выбрать и вынести то, что полегче. Освободить плацдарм. Потом – с помощью желторотиков – приняться за тяжелых гигантов: шкафы, шифоньеры, буфеты, диваны.

В воздухе висела пыль. Серафимов чихал звонко, с широким замахом головы. Крачкин издавал в согнутый локоть тихое «пст». Нефедов чихал, как мопс: «гр». У Зайцева от чихания заболел висок.

– Как она тут вообще жила?

Слова Крачкина о возможной причине смерти произвели впечатление. Легко верилось, что на покойную откуда-нибудь из-под потолка съехал шкаф. Вынырнуло из глубин забытое пресс-папье. Лягнуло рухнувшее с высоты кресло. В любом случае повторить ее судьбу не хотелось.

– Молодая еще баба, – недоумевал Серафимов. – И такой срач.

Хребты безумия, думал Зайцев, оглядывая уходившие к потолку массивы. Теперь уже к запаху пыли примешивался запах пота. Мебели словно не становилось меньше.

– Сумасшедшей она не казалась, – словно слышал его мысли Крачкин.

– Люди меняются, – быстро парировал Зайцев.

– Мистика.

– Что там, Самойлов?

– Мистики, Сима, никакой. Мебель – ее. Квартира тоже была ее. Квартиру уплотнили. Ей выделили эту комнату... Она поди перед уплотнением сунула дворнику четвертак, и всю мебель стащили сюда.

– Воображаю рожи соседей, – подал голос Серафимов. – Думали пожить. А въехали в голые стены. А пищать и жаловаться поздно.

– Она что, надеялась, что советская власть откатит назад? И соседей выпрут? – откликнулся невидимый за баррикадами Зайцев. – А ты, Крачкин, говоришь, не сумасшедшая.

Крачкин не ответил. Многие тогда на это надеялись. Многие до сих пор надеются, подумал Зайцев.

Нефедов, приподняв край шали, смотрел на покойную. Он казался Германном у ложа Пиковой дамы.

Медики – чтобы забрать тело – были уже в пути.

– Чего лупишься, Нефедов? – не поворачиваясь, спросил Серафимов с козеткой в вытянутых руках. – Работа заломала?

Нефедов опустил шаль, протянул руки, принял козетку. Споткнулся, чуть не полетел с козеткой в вытянутых руках. Мгновения всем показались вечностью.

Но тот сумел выпрямиться, удержал равновесие.

– Елки-палки, – выдавил, придя в себя, Серафимов.

– Смотри, куда ступаешь. Ты б нас всех угробил, если б боднул эту стену, – заворчал Крачкин. – Смерть под диваном.

– Ты обо что споткнулся-то? – посочувствовал Зайцев.

– Тут что, мало обо что споткнуться можно? – ныл Крачкин. – Глаза разувать надо.

Зайцев поднял с пола шелковый пояс. Тот скользнул, распустив петлю.

– Извините, – промямлил Нефедов.

Козетка поплыла к выходу. Зайцев отбросил пояс от греха подальше.

Серафимов потянул за рога очередное кресло. В недрах зарокотало, заскрежетало. Все замерли, чувствуя, как бросает в пот. Опасались схода лавины. Убедились, что опасность миновала. Серафимов был красен по самые волосы.

Зайцев сглотнул:

– Ты, это, Сима, тоже... повнимательней.

– Товарищ Серафимов, это как играть в бирюльки, – наставительно произнес Крачкин.

– Какие еще бирюльки? – сердито буркнул тот в ответ. Легковесное словцо не понравилось ему. Зайцев попытался вспомнить, что он хотел сказать Серафимову: безуспешно.

– М-м-м, – промычал старый сыщик. Понимай, как хочешь.

– А ты, товарищ Зайцев? – нашел новую жертву Крачкин. – В бирюльки в детстве не игрывал?

– Мое детство, Крачкин, прошло на улицах, а не при дворе.

– Зачем сразу «при дворе»? Если, конечно, бирюльки не из драгоценных материалов и сделаны фирмой Фаберже. Но это не обязательно. Бирюльки можно и деревянные, и костяные. Нефедова я и не спрашиваю. Нет, спрошу. Товарищ Нефедов, вы знаете, как играть в бирюльки?

– Нет, – просто ответил Нефедов.

На Зайцева, как тошнота, опять накатило мерзкое, уже такое привычное чувство, будто отстал от самого себя: видишь руки, которые тянут кресло, но не сразу понимаешь, что руки – твои собственные.

Крачкин всё допытывался:

– Товарищ Сарафанов?

Тот промычал.

– Я так и думал: советская молодежь.

– Крачкин, прекрати трепаться, отвлекаешь, – огрызнулся Серафимов. Он нацелился на пузатый комод, поблескивавший бронзовыми ручками в недрах мебельной горы. Путь к нему преграждали полированные, резные буреломы.

– Я серьезно! – неожиданно горячо возразил Крачкин. И тут же поставил только что высвобожденный им стул. Сел. Забросил ногу за ногу. Зайцев удивленно посмотрел на него. Остальные деликатно воздержались от комментариев: старый сыщик просто-напросто устал. Работа не прервалась.

Крачкин вещал:

– Не ради отвлечения, между прочим. Сейчас я вам расскажу, как играть в бирюльки. Пока кто-нибудь нас тут не угробил. Игра, друзья, заключалась в том, чтобы насыпать горкой всякую дребедень... Совсем как здесь. Только без угрозы жизни.

Зайцев смотрел на свою руку, на бронзовый рогатый канделябр под ней. И никак не мог сообразить: то ли собирался взять, то ли только что положил. «...Вел», – услышал Зайцев свой голос. Испугался. Вытаращился на бронзовые рога. Не сказал ли он это вслух? Сердце бешено билось. Он глянул осторожно. Серафимов по локти – шарит в чем-то. Нефедов взобрался на уступ, как горная коза, пытается высвободить ломберный столик. Крачкин, кряхтя, перевязывает шнурки на ботинке: тянет время, чтобы отдохнуть.

Не вслух, понял Зайцев. Но глядел, как во сне. Когда сил нет двинуть ни рукой, ни ногой.

– О! – радостно воскликнул Серафимов. – В комод.

– Чего там у тебя? – приподнялся со стула Крачкин.

А Зайцев все не мог стряхнуть вялость.

– Дамские панталоны?

– Сам ты панталоны.

Серафимов приподнял пожелтевшие кружева.

– Вася, здесь письма, – посмотрев, позвал Крачкин.

– Ты что там, оглох? – нетерпеливо поторопил Серафимов.
– Приобщайте. Письма – это хорошо, – откликнулся Зайцев. Серафимов принялся паковать улику.

– Кстати, о «приобщайте».

Крачкин отвернул пиджак:

– Вот.

– Что это?

– Трамвайный билетик.

– Я вижу, что не в театр билет.

– В лифте нашел.

И Крачкин торопливо уточнил:

– Может, имеет отношение к делу. Может, нет.

– Приобщай.

Зайцев принялся вынимать ноги из столпотворения предметов на полу.

– А ты куда?

– В уборную.

В коридоре соседи окружили Самойлова и желторотиков. При виде Зайцева оживились. «Но не слишком», – отметил он.

– Продолжайте, товарищи. Не отвлекайтесь. Любые ваши наблюдения, мысли, соображения помогут следствию.

Он быстро пробрался через них, по коридору – в гулкую уборную. В ней еще сохранилась узорчатая плитка. Нарядный ватерклозет стоял на львиных лапах. Для коммунальной квартиры – ослепительно чистый. Место общего пользования.

Зайцев открыл кран – две бронзовые розы. Принялся плескать себе в лицо ледяную воду. Как будто воспоминание, ворвавшееся без приглашения, можно было смыть, спустить в круглый ротик ванной – в ленинградскую канализацию. Сел на край ванны, ощущая через брюки его чугунный холод.

«...Вел», – повторяла за ней нянька. И нацеливалась щепотью на крошечную теннисную ракетку в колючем ворохе самой разной дребедени: тележек, елочек, портновских игл, кошек, яблочек, леденцов, причем леденец был такого же размера, как елка.

«Well». Гувернантка-англичанка обычно побеждала: ее длинные ноготки подцепляли бирюльки там, где пасовали старушечьи пальцы.

«Вел», – говорили и дети, подражая няньке. А не гувернантке, как надеялись мама и папа...

«Черт знает что. Проснись, – приказал он себе. – Человек убит, – напомнил. – Пошел, ну».

Он стряхнул капли. Промокнул лицо рукавом. Спустил воду. «Даже шнур не оторван», – тупо удивился. Шнур был богатый: толстый и завершался шелковой кистью. Под звуки водопада Зайцев отодвинул щеколду. И едва не ушиб санитара. Прибыли медики забрать труп.

– Господи, – только и сказал один на пороге комнаты.

– Стало лучше, – заметил Серафимов. – Было куда хуже.

– Не пролезем с носилками.

– Сима, давайте выносить ее в коридор, – приказал Зайцев.

– Я ноги возьму, – вызвался Серафимов.

– Я тоже голову не хочу, – поддразнил Крачкин. Шутя. Но шутя лишь отчасти, услышал в его тоне Зайцев. Милиционер Сарафанов деликатно зашел за рояль, чтобы про него не вспомнили.

Им всем приходилось видеть трупы и похуже – в чисто физическом смысле. Воняющие самым страшным запахом на земле. С месивом вместо лица. Разложившиеся. В этой покойнице было что-то жутковатое в смысле отнюдь не физическом.

– Нефедов.

Нефедов послушно соскочил с уступа. Отряхнул руки. Зашел в изголовье кровати. Переложил руки мертвой на грудь. Взял ее под плечи.

– Раз, два, три.

Она была тяжелой, все мертвые тяжелые. Носилки лежали в коридоре на полу. Соседи стояли, как стадо овец: молчаливым кружком. Зайцев уловил движение взметнувшейся ко лбу руки: кто-то осенил себя крестом.

Серафимов опустил ноги убитой. Зайцев выпустил из рук туловище. Нашел в толпе соседей лицо Самойлова: нашел что-нибудь? Тот прикрыл глаза: да. Отлично.

Нефедов последним осторожно уложил плечи, голову. Потом опять приподнял шаль и посмотрел на убитую долгим взглядом.

– Красивая баба, – заметил один из медиков. – Свое отпрыгала.

К цинизму медперсонала обитатели квартиры явно не привыкли.

– Сам ты баба, – донеслось от стада соседей. Женщины загалдели:

– Это актриса знаменитая! Дикари... Типун те на язык. ...Я тя щас сама так отпрыгаю, зенки повылазят... Как вам не совестно, молодой человек.

Кем была их соседка, очевидно, знали в квартире все.

Медики поспешили поднять носилки, понесли к выходу.

Зайцев остановился на пороге комнаты. Следы их работы были, конечно, видны. Там и сям теперь зияли пазухи и провалы. Но хлам ужасал по-прежнему. «Они правы. Что искать в этом бардаке? Как понять, что пропало? И что здесь странно – если странно примерно всё».

– Зак, Охотников, Кукушкин. Подключайтесь.

Желторотики тотчас отцепились от Самойлова, просочились.

– Осторожно! Улики не затопчите, – задрезжал Крачкин, суя в руки Заку лампу с бахромой на абажуре.

Зайцев подошел к Самойлову.

– Ножик бы им показать – может, узнает кто.

– На самый конец оставь, – велел Зайцев. – Очень людей такие штуки нервируют обычно, а нам сейчас трагинервические явления ни к чему – нам нужно фактов побольше собрать. Где была, с кем встречалась, кто в гости приходил.

– Будут тебе факты, – усмехнулся Самойлов. – Сюда.

Женщина ждала их на кухне. Сидела боком у стола. И тотчас попыталась встать.

– Ничего-ничего, сидите, – отозвался Зайцев. Самойлов кивнул подбородком:

– Вот. Гражданка Сеницына. Помогала по хозяйству...

Самойлов деликатно отпустил слово «...убитой». Сеницына нашла тело.

Немолодая, тумбообразная, она тотчас спрятала руки под фартук и принялась разглядывать зайцевские ботинки.

– Как вас по имени-отчеству? – почти ласково спросил он.

Та подняла глаза, моргнула. словно прикидывая, чем это грозит.

– Да Наткой зовите.

– Наталья, значит, – улыбнулся ей Зайцев. – Уж там, Наталья, наверное, уборки было – ух. Мебели сколько.

– А вот и нет, – засуетилась Сеницына. – Они не разрешали убираться. Пальцем не тронь.

– Что ж за хозяйство тогда такое? – изобразил удивление Зайцев.

– Известно. Булки не на деревьях растут.

– Это да. Пока по магазинам ноги стопчешь, в очередях настоишься, – поддержал разговор Зайцев. Всем этим для него занималась Паша, но кого интересуют факты? Только уголовный розыск.

Наталья усмехнулась.

– Уж ты, можно подумать, сам и бегаешь?

– Нет, – признался Зайцев. – Мне некогда. А жены нет. Поэтому и жру говно всякое. То в столовке. То какое придется.

Взгляд Натальи впервые потеплел, в нем блеснули искорки – насмешки, интереса и сочувствия одновременно.

– Не. Они бы говно жрать не стали. Ты что.

– Еще бы. Артистка. Там все другое, – без насмешки согласился он. Самойлов еле слышно хмыкнул.

– Артистка, – оживилась Наталья. – Масло растительное – нет. Оно для кожи вредное. Только сливочное. А почему масло сливочное терь знаешь?

Зайцев не знал. Масло он видел только в столовской каше, но оно было машинным, не иначе. Однако кивнул.

– Во. Потом мясо. Колбасу она те жрать не будет. Мясо ей надо. Чистое. Чтоб ни жилки, ни жиринки. Курицу. Грудку постную. Да чтоб курица та не ГТО сдавала.

– Это как?

– Чтоб разжевать можно было. Не физкультурную. Нежную. Значит, к частнику катись. В ногах у него, падлы, валяйся. Знаешь, как трудно сейчас частника с курями найти?

Верно, частников-то налогами в последнее время прижали.

– А яйца – только свежие. С другими даже к ней не суйся. Да в день не меньше четырех штук. В неделю – две с лишним дюжины. Значит, еще частника с курями ищи.

Слова были сварливые, а голос – окрашен нежностью. Видно было, что хлопоты вокруг капризной хозяйки были для Синицыной смыслом жизни. Теперь утраченным. Зайцев решил немного повременить с расспросами о том, как она нашла тело.

– Повидлю она тоже жрать не станет, – продолжала рассуждать Наталья. – Ей шоколад ищи.

Взгляд Самойлова стал острым. Как у пойнера в стойке. Зайцев быстро на него глянул: цыц. И опять ласково – на гражданку Синицыну.

– Это ж какие деньжищи на это нужны, Наташа, – простодушно удивился он. – Чтобы питаться так. Что же, артисточка в кино снималась? В театре выступала?

– Ты что? Она отсюда не ногой.

– Как это? – встрял Самойлов.

Зайцев участливо наклонился к свидетельнице:

– Так-таки не ногой? Ну а в гости к друзьям, к родственникам? В кино там. Или на концерт. Да погулять просто, по улице пройти.

Синицына помотала головой:

– Нет, она носа из дома не казала.

– Совсем, что ли?

Кивок.

– К ней приходили?

– Никто к ней не приходил! Ты что! – возмутилась Наталья так, будто Зайцев предположил нечто безобразное.

Самойлов сделал непередаваемую гримасу.

– Она так себе назначила, – пояснила Наталья. Что, впрочем, скорее напустило больше туману.

Зайцев быстро ответил:

– Понятно... Она не такая, как все. Нежная.

Нельзя было сбивать свидетельницу удивлением, недоверием или тем паче насмешкой. Синицына посмотрела на него с симпатией.

– Гордая. – Поправила: – Уж коль сама себе что решит, то не уступит.

– Наталья, только одно не пойму. Не выступала, не снималась, не служила, носа наружу не казала. И к ней никто не приходил. Откуда ж деньги?

– А цацки она свои продавала.

– Правда, что ли?

– Ну. Потихоньку в торгсин, в комиссионки.

– И часто она в торгсин ходила? – уточнил Зайцев.

– Ты что? Говорю же: не выходила она. Она ж артистка. Куда ей. Я ходила. Она даст. На тебе, Ната. Брошку там или колечко. Я и пойду.

Так-так. Это еще не след, так, только пунктир, но уже наливающийся теплом.

– Много ж у женщин цацок всяких.

– Кому как, – охотно заговорила тему Синицына. – Артисткам не так, как обычным, надо. Чего уж.

– Ты видела?

Самойлов чуть не подпрыгнул на месте.

– А то. В ящиках у нее лежало все. Позовет меня. Приду. А она сидит. Как елка разубранная. В зеркало на себя глядит. Что, грит, Ната, идут мне сережки эти? Вам, грю, всё идет. Хоть мешок из-под картошки нацепите. А она, значить, смеется. А я, грит, думаю, не идут. На вот. Снеси куда следует. Отдаст. А остальное обратно в ящик.

– А в какой? Там же ящиков этих... Покажешь?

Кивнула.

– Идем.

Коридор уже опустел. Желторотики – двое из ларца, одинаковых с лица, только у одного значок ГТО на футболке, а у другого нет – разогнали соседей по норам. «Молодцы», – мысленно похвалил Зайцев. Вернулись в комнату.

– Показывай, Наталья.

– Да вон.

– Вон там?

– Не. Ты на палец мой гляди, куда показываю.

– А чего пальцами тыкать. Ты, Наталья, подойди. Покажи.

Синицына, уверенно лавируя между твердыми углами, прошла к роялю. Приподняла крышку. «Умело берет. Не впервой, – отметил Зайцев. – А может, впутана в хозяйкину гибель».

– Тута.

Зайцев заглянул в нутро инструмента. Бархатные коробочки. Квадратные. Круглые. Пролонговатые. Большие. Маленькие.

Зайцев выхватил из кармана платок. Встряхнул. Через платок поднял бархатную крышку. Футляр был пуст.

Синицына пошла пятнами. Челюсть у нее затряслась.

– Не брала я. Вот те крест не брала.

– Да ты, Наташ, успокойся. Знаю, что не брала.

– Я те матерью клянусь. Вон, к Ксении Петербургской пойдем, я те там поклянусь.

– Да я верю! Ты вот что скажи. Здесь что лежало? Обратила внимание, когда она тебе показывала? Помнишь?

– А то. Как не знать. Перлы в этой коробочке лежали. Каждый с гусиное яйцо.

– Врешь ведь? – позволил себе улыбку Зайцев. – Не бывает таких.

Синицына тоже чуть улыбнулась:

– Вру. Но вот такие, – она показала фалангу пальца. – С воробьиное. Не меньше. Крест истинный.

– А здесь? – он показал пустой круглый футляр.

– Корона. В прозрачных камушках. Веточки и листики.

– Диадема, значит, бриллиантовая.

– Брильянтовая, да. А здесь браслетка.

– Молодец, Наташа. Большое тебе спасибо. Вот ты товарищу Самойлову расскажи подробно, что где было. В каждой коробочке. А он запишет.

Самойлов взял ее под локоть.

Шум борьбы у входа отвлек их.

Желторотик Охотников висел на гражданине в клетчатом пиджаке:

– Куда? Нельзя!

Подскочил Зак, вдвоем они стреножили клетчатого. Тот не сдавался, извивался:

– Пустите... Кто здесь главный?

«На соседа не похож, – нахмурился Зайцев. – Родственник? Любовник?»

– Гражданин, вы препятствуете следственным мероприятиям.

– Вы главный?

– А вы, собственно, кто?.. Спасибо, Наташа! – успел крикнуть он в дверь. А Самойлову кивком головы напомнить: «тело, шаль».

– Не важно! Вы мемуары ее уже нашли?

– Самойлов, разъясни гражданина, – холодно распорядился Зайцев. – Имя, фамилию, адрес проживания, место службы.

Клетчатый сразу обмяк. Зак и Охотников уволокли его в коридор.

– Что еще за хрен? – удивился Серафимов.

Глава 4



Окна во всем автомобиле открыли – волосы, одежду трепал пахнувший рекой сквознячок. Но и он не помог. Ощущение въевшейся пыли было везде. На руках, в носу. Зайцев опять провел ладонями по брюкам: лучше не стало. Серафимов щупал пальцами царапину на виске: лягнула кушетка. Крачкин то и дело закрывал нос согнутым локтем: «псть», – как будто представлял знаки препинания в рассказе Самойлова. Опрос соседей дал много – и ничего.

Не выходила.

Не навещали.

Таланту нужна тишина.

Нож никто не узнал.

Все сидели на привычных местах – как уселись однажды, раз и навсегда. Глядели то в окно, то себе под ноги. Машину потряхивало, и казалось, разговор потряхивало вместе с ней.

– Может, и врут соседи, – вещал Самойлов. – Только тогда очень хорошо сговорились.

«Псть!» – отметил Крачкин. И Самойлов добавил:

– ...Слаженно врут.

– Врут все, – устало вступил в разговор Зайцев. – Не во всем нужно непременно до правды докапываться. Есть важная ложь и не важная.

– Еще бы понять, где какая, – буркнул Серафимов.

– На такие вещи, Сима, чуйка вырабатывается.

– Хорошо. Пример, – не отстал тот.

– Чего?

– Какая здесь не важная, по-твоему?

– Враки Натальи этой, что она шалью не накрывала хозяйку, – не раздумывая привел пример Зайцев. – Шаль на убитой была – нож на груди сквозь нее прошел.

Ответ Серафимову не понравился – слишком очевидный:

– Что лежало тело не так – ясен пень.

– Не ясен, – возразил Зайцев. – Может, во сне ее убили. Эксперт скажет точнее, но похоже, ночью это случилось. Тогда и поза спокойная объясняется. Но вот лицо накрытое – это, конечно, Натальяина работа.

– Почему знаешь?

– Психология. Обиживать она ее привыкла. Дворник за телефон. А она, значит, лицо накрыла – жест последней заботы.

Крачкин не выдержал, вмешался:

– Товарищ Зайцев свистит. В психологии он ни бельмеса. Он пятно свежeweымытое на полу заметил.

– Ну тебя к черту, Крачкин. Кончай авторитет мой подрывать.

Крачкин выдавил смешок.

– Не помню я пятна, – удивился Серафимов.

– Не помнишь, потому что я на него сразу стул поставил и сверху сел, – заявил Крачкин: – Чтoб ножищами вы своими улики не затоптали.

Самойлов, который не двигал мебель, а допрашивал соседей, пропустил всё – и сейчас внимал разговору с видом человека, который пришел к середине анекдота:

– Чего за пятно?

– Яйцо, – пояснил Крачкин. – Мыла в спешке – по разводам и кусочкам скорлупы судя. Она правду сказала: принесла сырое яйцо, как обычно. Глядит: а хозяйка-то мертва. Яйцо выронила. И с этого момента уже нам вратъ начала.

– Ну накрыла ей лицо и накрыла. Это для дела не важно, – подвел черту Зайцев.

– Как так можно жить – и из квартиры не выходить? – раздраженно пожал плечами Серафимов, не любивший людских странностей. – Все-таки она была того. Ку-ку.

– Почему бы ей дома и не сидеть? – возразил Самойлов. – Раз соседи за нее все делали, для чего обычный человек на улицу выходит. По магазинам бегали. Газеты приносили. Одна баба за одеждой ее следила. Гладила и так далее. Туфли сапожнику относилa. Другая ей прически наводила. Маникюр и так далее. ...которая маникюр, кстати, вообще профессорская вдова. А мужик с пузиком, комната возле сортира, тот зубной техник, и он ей зубы прямо на дому чинил. На таких условиях я бы и сам засел.

– И что б ты, интересно, целыми днями делал?

– Книжки читал.

Зайцев фыркнул.

– Чего? – обиделся Самойлов. – Между прочим, попадаются интересные.

Серафимов покачал головой:

– Еще один свистун. Гляньте.

– Я не насчет книжек сомневаюсь, Самойлов. Что не выходила совсем. Рассказывают – соседи? – уточнил Зайцев. В вопросе содержался ответ.

– Я им скорее верю, – возразил Самойлов. – Пока не получил повода убедиться в обратном.

– А ты всегда знаешь, брешет свидетель или нет, – тут же поддел Серафимов. Самойлов перехватил вопросительный взгляд Зайцева. Ответил как бы нехотя:

– Со временем, Сима, на это чуйка вырабатывается.

– Или не видели они, как она входила-выходила, – думал вслух Крачкин. – У дам бывают секреты.

Самойлов ухмыльнулся. Запустил пальцы в бакенбарду. Козырь в рукаве, понял Зайцев.

– Соседи – и не видели?! – почти в один голос набросились на него остальные. – Крачкин? В коммуналке?! Да там перднуть нельзя, чтоб соседи не узнали.

Самойлов подождал, пока все смолкнут.

– Верю я соседям. Не увидел я у нее среди барахла тряпок подходящих. Все какие-то платья с хвостами. Такое сейчас никто не носит.

– Ух ты, Самойлов, – искренне восхитился Зайцев. – Вот это – действительно факт! Жирный, увесистый.

Самойлов надменно кивнул – мол, еще бы. Но Зайцев заметил и довольную полуулыбку.

– Больно ты знаешь, что бабы носят, что нет, – так же искренне удивился Серафимов. И тут же потянул разговор за другую нить: – А я другой коленкор не пойму, честно говоря. Вся квартира в услужении одной жилички?

– Не жилички, а артистки, – поправил Крачкин и опять вздернул локоть к носу: псть!

– В добровольном, заметь, услужении. Только они это, конечно, так не называют.

– А как?

– Помощь.

– Странное поведение. Не выходила... Ни с кем не встречалась. Даже с цацками в торговле Синицыну эту посылала. Она что, от кого-то скрывалась? Что, если убийца ее все-таки выследил.

– Это ты в Нате Пинкертоне вычитал?

– А что?

– Актриса. Вот что. Псть.

– Ты, Крачкин, пояснее выражайся.

– Куда яснее. Мечта, дети мои, не может стоять в очереди. Толкаться на рынке – не может. Селедку покупать – не может. Ей селедка и не нужна. Она не ест вообще. Не может носить туфли сапожнику. Сидеть в парикмахерской вместе с другими гражданками и всем показывать свою завивку перманент. Ей не нужна завивка. У нее нет мозолей. Нет морщин, потому что мечта не стареет. У нее не болят зубы. А главное, дети, мечта – не стареет. ...Псть!

Самойлов воспользовался запинкой:

– Зубы болят у всех. У гражданки Берг тоже.

– А у Вари Метель – нет.

Самойлов фыркнул и покачал головой. Зайцев вздохнул:

– Я понял, Крачкин... Грустно это.

– Я не понял, – воинственно поддержал своего обычного соперника Самойлова Серафимов.

– Она не хотела, чтобы ее кто-нибудь сейчас случайно увидел – и узнал. Сравнил с прежней. Из артистического самолюбия не хотела. Как там Синицына сказала: гордая. Уж она поди изучила характер повелительницы своей.

– Да кто бы ее сейчас узнал? – Серафимов удивился искренне. – И фильмы-то такие уже давно не крутят.

Крачкин хмыкнул.

– Они всегда в голове у тех, кто их видел, – возразил Крачкин: – ...Я с тобой, Вася, в кои-то веки согласен: грустно... Псть.

Только Нефедов молчал всю дорогу. Впрочем, ему никогда не отвечали, и он привык – без необходимости не заговаривал.

– Причалили, – сообщил шофер и остановил мотор.

Выгрузились.

– Ножик сразу на пальчики проверь.

– А то.

– Не удивлюсь, если к ним пара отыщется с тех, что на рояле сняли. Где она цацки свои хранила.

Прошли в прохладный вестибюль. Дежурного не было видно за газетным листом, который спиной сообщал что-то про германский рейхстаг и канцлера Гитлера, – Зайцев глянул вскользь.

– В мире все спокойно? – съязвил Крачкин.

– Завершился автопробег Ленинград – Москва – Ленинград, – спокойно отозвался дежурный. Выглянул.

– Привет, Савостьянов, – бросил Зайцев. Но тот был слишком увлечен – продолжал:

– Опытные дальнородорожные восьмицилиндровые лимузины Л-1 «Красного Путиловца». И несколько иностранных разных лет, для сверки.

«Ну нахал», – покачал головой Крачкин. Савостьянов и не заметил. Как ни в чем не бывало перегнул лист – сверился с глазастыми мордами автомобилей на фото, стал водить по снимку пальцем:

– «Паккард», «Паккард», «Пирс эрроу», «Испано сьюза». «Студебеккер», – палец передвинулся на машину с рылом без решетки: – «Изотта-Фраскини». – Чиркнул дальше: – Еще одна «Сьюза».

Мир автомобилей влек его куда больше, чем мир ленинградских правонарушений.

– Всё в порядке? – елеинно-ядовито поинтересовался Крачкин. – С моторами?

– Только «Изотта» крякнулась – сошла. Но там понятно, старый драндулет, ей...

– Дома читать будешь! – разозлился Зайцев.

Савостьянов вскочил, выронив шуршащий лист.

– Приказано подготовить пятиминутку политинформации, – отрапортовал.

– Кем? Какую? – не понял Зайцев.

– Теперь перед началом каждого рабочего дня полагается, – объяснил дежурный. – Всем по очереди. Сообщения о международной обстановке и обстановке по Союзу. Вон график висит... До вас тоже очередь дойдет, товарищ Зайцев, – заметил Савостьянов садясь. Мол, не так запоее.

– Полагается... – Зайцев подошел к листку с плоской шапочкой кнопки. Увидел подпись товарища Розановой. Комсомольские затеи. Нашел свою фамилию. И опять чихнул. Обычно в вестибюле пахло грязной тряпкой, которой уборщицы тщетно наводили чистоту на истоптанных плитах. Но сейчас Зайцеву показалось, и здесь – пылью из комнаты актрисы.

– Все равно, Савостьянов. Комсомольская работа – это важно. Но и служба, между прочим, тоже. Не в булочной служишь. Повнимательнее.

Даже Туз Треф, умильно сидевший на собственном хвосте, пока проводник дул в дежурке чай, и тот пах не псом, а рассохшейся мебелью, пожелтевшей хрупкой бумагой, нафталином. Хотелось скорее в уборную – вымыть лицо, руки. Туз Треф вывалил в знак приветствия розовый язык, замел хвостом по плиткам. Но никто не остановился, и хвост снова обернулся вокруг зада.

Самойлов, Крачкин, Серафимов поднимались по лестнице. Желторотики взяли трамвай – отстали.

Зайцева кто-то потянул за рукав.

– Ты чего, Нефедов?

Зайцев видел, как с лестницы покосились трое остальных: заметили запинку. Во взглядах Зайцев успел прочесть мгновенное: «крыса». С того дня, как Нефедова перевели к ним, еще никого не арестовали, но это ничего не доказывало: доносы, отчеты могли собираться месяцами, годами. Совиное личико Нефедова оставалось все таким же сонным.

– Не нашел себя в графике политинформации?

– Погодите.

– Ну.

– Я ее видел. Варю эту Метель.

– Я заметил.

– Я ее в цирке видел.

Зайцев убрал ногу с лестницы, руку с перил.

– Что ж сразу не сказал?

– Давно, – уточнил Нефедов. – Когда мы сами номер работали.

– Когда Икаром был?

– Сыном, – поправил Нефедов. – Наш номер назывался «Икар и сыновья».

– Ладно-ладно. Я помню. Просто шучу так неуклюже. ...Ну, дальше.

– Только она тогда себя называла не Метель и не Берг. И волосы красила. Они у нее черные тогда были.

– Может, она рыжие – красила. А черные были настоящие.

Совиный взгляд.

– Извини. Опять шучу. Ты не ошибаешься ли?

– Я теперь не сомневаюсь: она.

В вестибюль вошел мужчина в чесучовом костюме. Зыркнул на них. С куда большей опаской – на Туза Треф. Нырнул к дежурному, вернее, газетному листу.

– Так странно... – задумчиво добавил Нефедов.

«Ну, Савостьянов, погоди», – Зайцев снова повернулся к Нефедову – но так, чтобы держать дежурного на краю окоема. Перебил ободряюще:

– ...Хорошие сведения. Молодец, что вспомнил. Объясняет, как ей к пятнадцатому году советской власти удалось не все драгоценности свои проесть.

Но Нефедова, похоже, обуяли воспоминания:

– Она работала в номере с Ирисовым-Памирским.

– В то время, Нефедов, многие делали странные вещи, чтобы прокормиться.

Зайцева куда больше занимал настоящий момент: дежурный приподнялся из-за загорожки, показал посетителю пальцем на лестницу.

Чесучовый костюм бросился на лестницу – нет, к Зайцеву:

– Товарищи... Товарищ...

Выпорхнул платок, промокнул потный лоб. Шляпу посетитель зажимал под мышкой.

– Гражданин, вам чего? – рассердился Зайцев. – Савостьянов! Ты чего распускаешь население?

– А ему к вам! – донеслось невозмутимо.

– Я к вам... к вам!

– Ну так сядьте вон там и дождитесь, пока запишут...

– Я записал! – тут же огрызнулся дежурный.

Мужчина, задыхаясь, схватил его за обе руки, точно собираясь танцевать с Зайцевым польку-бабочку. Глаза беспокойные. С шумом вырывалось дыхание, обдавая Зайцева запахом больного желудка:

– Вы... Вы... Вы мемуары ее – нашли?

* * *

«ЖЕМЧУТ СНИТСЯ К СЛЕЗАМ»

– Но я тоже хочу! – повторил он.

Мне он понравился, этот мальчишка и его бесконечные «хочу». Богатые люди редко чего-то хотят. Точнее – почти всегда не хотят ничего. И, как назло, липнут к актерам и актрисам. Как будто надеются отогреться чужим теплом, чужим весельем.

Но этот был еще живой, еще теплый. Наверное, потому что младший. Вот старший брат был не такой. Старший уже знал всё: что можно, как надо. Просто-таки знал всё. Скучно. Но ссориться я не хотела.

– Есть же другие места. Не обязательно к «Медведю», – напомнила я старшему, но он все гнул:

– Гимназистов туда не пускают.

Младший не сдавался:

– Но я хочу! Хочу с вами!

Только что ножкой не топает. Красивый капризный мальчик. Прелесть. Я его понимаю: когда еще в его жизни будет «нельзя»! Наследник крупнейшего состояния России. Разделит с братом, но все равно получится столько, что простому смертному и не вообразить.

А пока подчиняйся дурацким общим правилам. Пока делай, как старший брат скажет:

– Нет.

– Пойдите, – я поднялась. Прелестные серые глаза блеснули надеждой.

– Гимназистов не пускают, – всё нудел старший брат.

Я люблю избалованных людей. Они милосерднее. Понятно, что милосердие их недорого стоит. Но все же. Дешевое милосердие все равно милосердие. Я не из тех, кто гнушается калачиком только потому, что цена ему копейка. ...А вот суровых людей – боюсь: им ни себя не жалко, ни других.

Я поставила пуфик напротив мальчика. К самым его коленям. Нашла все нужное в ящике у зеркала: полные горсти.

Села на пуфик, расставила ноги и высыпала все в натянувшийся подол. Оба брата недоуменно уставились на баночки, палочки, кисточки, коробочки.

– Что это еще?..

Я и ухом не повела. Мужчины никогда в точности не знают, что есть что, но что такое пуховка, поняли оба. Я сдула в сторону лишнее. И приказала:

– Закройте глаза.

Серые глаза с готовностью закрылись.

– О, нет, – сказал старший. – Вы это не серьезно. Это не может быть серьезно.

– Я дьявольски серьезна, – успокоила я.

Коленями я чувствовала жар его коленей. Слушала его сдерживаемое дыхание. Чистое дыхание мальчика, которому с первого в жизни молочного резца доступен лучший в столице, во всей Европе зубной техник. Дыхание ребенка, развязывающего бант на рождественском подарке. Когда еще я смогу побыть доброй феей? Пыльца осела на плечах, на спине.

– Вы испортили ему гимназический мундир.

Вот зануда.

– Он ему сегодня не понадобится.

Я румянила нежные щеки. Он и бриться, наверное, еще не начал. Накрасила карминовым листиком мягкие маленькие губы.

– Теперь не дышите, – приказала. – Смотрите вверх.

Серые глаза доверчиво вздернулись к потолку.

Глаза светлые – совершенно не годные для кино, невольно отмечаю: на пленке такие выходят совершенно белыми, жуткими – бельма с черными гвоздиками зрачков. Глаза у него прозрачные, а ресницы – черные. Я принялась чернить их еще больше. Чернить и закручивать. Прикасалась крошечной круглой щеточкой и любовалась: на котиковые брови, прелестные и четкие. На безмятежный лоб. На чистые белки, которые еще не замутило ни пьянство, ни бессонные ночи. Бровям я тоже добавила черноты. Сейчас так модно. Ничего не поделаешь. Приличные дамы вольны презирать актрисок. Сколько угодно. Но подражают – все равно нам.

– Я умываю руки, – подал голос брат. Но уже слышно было, что и ему самому не терпится увидеть результат.

Я поплюнула карандаш. Он перестал дышать.

– Не бойтесь, не выколю.

Потом растерла линии пальцем. И наконец поднесла зеркало. Он принял его, не отрывая от амальгамы изумленных дымчатых глаз. А потом перевел их на брата. Тот махнул рукой. Но не выдержал, расхохотался. Мальчик осторожно улыбнулся красными темными губами, будто

опасаясь, что новое лицо от неловкого движения лопнет, пойдет трещинами и осыпется, как маска.

Я надавила резиновую грушу. Спрыснула свою Галатею духами «Коти». И торжествующе возвестила:

– Куда не пускают гимназистов, всегда пустят хорошенькую девушку!

Мы подкатили к «Медведю».

Старший брат подал руку мне. Потом – с той же джентльменской серьезностью – юной даме, что вышла следом, царапнув пером верх авто.

Он, точнее, она поправила соболью шубу на худеньких плечах. Осторожно потрогал, то есть потрогала волосы. Парик подходящего цвета у меня нашелся: остался после фильма «Замок Тамары». За чулками, туфлями, платьем, шубой братьям пришлось прокрасться в материнский гардероб. Но зимой в Петербурге ночи длинные. Опоздать невозможно. Когда мы вошли в зал, вечер весело трещал, нас обдало ропотом ужинающих. Угорал цыганский оркестр, под стоны скрипок млели пальмы. На высокой стеклянной крыше можно было разглядеть снег. Но под ней – тропики.

...Домой пришлось съездить за платьем – и драгоценностями. Когда она распахнула шубу, брызнули бриллиантовые искры. Постукивал о колени крупный жемчуг: такие длинные тяжкие ожерелья вошли в моду после одного балета на восточную тему. Но у княгини – спавшей сейчас в своем особняке на Мойке мирным сном матери взрослых сыновей – он, уж конечно, не был бутфорским.

И в тот момент я поняла, почему старший брат так рвался сегодня в старый добрый, то есть давно всем надоевший «Медведь». Говорят, что старая любовь не ржавеет, и я добавлю: в каждой банальности только доля банальности. Он буквально врос в пол и вытаращил глаза.

Госпожа М. его тоже заметила. Она стала белее скатерти. Мгновения длились вечность. Потом она поспешно пробормотала что-то своим спутникам за столом и даже сумела выдавить улыбку. Не знаю, который из них был ее мужем: тот с серебристой бородой или тот с длинным носом. Оба закивали. Торопливо поднялась. Оправила платье. Заспешила туда, за пальмы, где располагались уборные. А старший брат уже шел за ней, не сводя отчаянных глаз.

Мы с младшим переглянулись. Мы остались одни. На нас уже поглядывали подавальщики за стойкой бара. Поглядывал метрдотель. Большинство круглых, на американский манер табуретов у стойки были пусты. Надо было или садиться, или проходить в зал. Для госты без спутника (никто же не знает, что прибыла я в ресторан сравнительно приличной дамой – а спутника лишилась несколько секунд назад) оба выбора равно плохи. Я все-таки не настолько забросила чепец за мельницу.

Что же делать? На миг я совсем забыла наш маскарад. Он снова был для меня мальчишской, гимназистом, увязавшимся за старшими.

– Ждите здесь, – велела я.

И тоже двинулась – мимо бутылок, мимо табуретов, мимо косых взглядов халдеев – к пальмам и фикусам, целомудренно маскировавшим вход в уборные.

Я успела застать лишь последние восклицания. Он держал ее за руки.

– Авто у подъезда.

Пальмы и фикусы скрывали не только уборную. Но также второй выход. Закрытые двери отдельных кабинетов выходили сюда же и притворялись слепоглухонемыми. Сколько тайн за их сомкнутыми устами? Посетители кабинетов часто хотят выскользнуть из ресторана незамеченными – через второй выход, который тут же к вашим услугам.

...Она в муке закрыла глаза. Он так и прожигал взглядом ее сомкнутые веки. А потом она кивнула.

Видимо, мужем ее не был ни тот с седой бородой, ни тот с длинным носом. Или же она только что закинула за мельницу не только чепец, но также чулки, корсет и панталоны.

Впрочем, какой риск? Если твой возлюбленный – наследник самого большого состояния России, то за мельницу может лететь вообще любая деталь туалета: такие деньги купят все. В том числе и твоё равнодушие к общественному мнению. То есть ядовитым плевкам дам, которые скрывают свои шашни куда ловчее.

Однако мы остались не только без спутника. Но и без авто.

Я тотчас пообещала себе, нет, поклялась – с первых же бешеных денег купить себе собственное авто. Точно. «Изотту-Фраскини». Но что делать прямо сейчас, признаться, не знала.

Оправила перед зеркалом волосы. Подкрасила губы. И вернулась в бар. По углам стояли халдеи с салфетками.

В первую секунду я решила, что младший брат тоже сбежал.

А потом заметила юную красавицу на высоком табурете. Склонив прелестную головку в парике из «Замка Тамары», она внимала какому-то грустному козлобородому господину. «Какой хороший парик, – отметила я. – Зря я его сама не ношу».

Взмахивали длинные ресницы. Вздрагивали темные карминовые губы. Покачивалась в белых пальцах нить тяжелого жемчуга. Грустный господин склонял бородку к прелестному мальчишескому ушку в маминых бриллиантах.

Мне стало любопытно, что он там ей, то есть ему, плетет.

Я непринужденно пошла, как бы мимо. Но выронила ридикюль. Из него тут же выкатились липстик, пудреница. Потому что я предусмотрительно раскрыла застежку, прежде чем выронить ридикюль. Но козлобородый во фраке даже не повернулся. Его красotka даже не двинулась. Халдеи бросились на помощь. Все три, что стояли по углам с салфетками.

Господин с бородкой взял нить жемчуга ловкими пальцами.

– Вот так... потом накидываете вот так... потом достаточно лишь дернуть и...

С тихим стуком узел распустился, тяжелая нить закачалась. Мальчик попробовал повторить. Не получилось. Господин забрал нить в свои ловкие пальцы – так что кудри парика чуть ли не щекотали его многомудрый лоб в поперечных морщинах.

– Смотрите... вначале петлю... потом сюда... сюда...

Я обратилась в слух.

– Раскрепощение духа чувственности...

Ну да, ну да.

А потом до моих изумленных ушей донеслось:

– ...поможет выплеснуть этот сгусток на дело победы социализма. Сам Ленин писал. Товарищу Троцкому. Сексуальное угнетение есть главное средство порабощения человека... Теперь просто дернуть и...

Узел распустился. Нить свободно закачалась. Маленькая ручка в перчатке перехватила ее.

Имена эти в газетах мне попадались: вожаки стайки большевиков. Значит, и этот... Большевик во фраке? Интересная комбинация. Большевики представлялись мне горсткой расхристанных крикунов. Но этот фрак носил привычно. Бородка холеная. Я определила: посланник? Секретарь посольства? И при этом – большевик?!

Теперь они налаживали узел в четыре руки.

– Семья как буржуазный институт себя изжила.

Госпожа М., стало быть, большевичка. В душе. Вот бы она удивилась.

Халдей подал мне ридикюль:

– Пожалуйста.

Я заглянула внутрь.

– А коробочка с пилюлями?

Халдеи озадаченно переглянулись.

– Ах, она, должно быть, закатилась особенно далеко. Маленькая, серебряная.

Халдеи снова стали прочесывать лес табуреточных ножек в поисках кругленькой серебряной несуществующей штучки.

Я опять слушала жаркое, смотрела на танец четырех рук вокруг жемчужной нити:

– Все запреты, касающиеся сексуальности, должны быть сняты. Даже запрет на однополую любовь должен быть снят.

Красотка издала нечто вроде «м-м-м-м».

– ...теперь просто дернуть... И нет узла.

Тяжелое шуршание жемчуга.

– Поняли?

Уже даже я поняла, как завязывать.

– Не совсем, – взмахнула ресницами красотка. Слабость в женщинах очаровательна.

– Ленин полагает, пока существует такое угнетение, не может быть настоящей свободы.

Неплохо. Господин во фраке агитировал сразу и за большевиков, и за собственную постель! Но как он догадался, что перед ним – не дама?

И тут я увидела, что моя красавица заворуженно сползает с высокого табурета. Глаза глядели в глаза. Последней по табурету соскользнул подол собольей шубы. Пора было вмешаться взрослым.

– Ах, вот и моя таблетница! – громко сказала я лакеям.

С улыбкой шагнула вперед, тронула фальшивую даму по плечу, расшитому настоящим серебром:

– Вы не представите мне вашего собеседника?

Тот от неожиданности чуть не перецепился за американский табурет. И несколько секунд гадал: что я успела услышать. А потом изысканно поклонился:

– Георгий Васильевич Чичерин. Друг отца этой барышни.

Придумал на ходу. Не хуже и не лучше других выдумок на ходу. «Барышня» открыла было рот, но передумала – закрыла. И снова задвинула зад на круглое сиденье.

Господин Чичерин сделал знак подавалыщику за стойкой. Хлопнула пробка.

Мы разговорились. Мне он показался даже симпатичным. Грустным. Но симпатичным, насколько таковым можно найти мужчину, которого не интересуют женщины.

Плохо помню, как он исчез. Как подошли те, другие. Как мы оказались в отдельном кабинете вшестером. Две дамы и четверо мужчин. Точнее, одна дама, четверо военных и один накрашенный гимназист в мамином платье. Когда проскочили мы остановку, когда еще можно было сойти?

Хмель слетел с меня в одно мгновение, когда дело стало плохо. Очень плохо. Питомцы Марса распалились и больше напоминали сатиров. Уже мелькнул распаленный уд.

Не знаю, что было бы хуже: если бы он был настоящей девицей или если бы они обнаружили в платье мальчишку. Настолько ли они были пьяны?

Но узнать было не суждено. Гимназистик вывернулся из собольей шубы, оставив ее в руках сатира. Стремительно перескочил к столу. Схватил бутылку шампанского и жажнул ею в зеркало. Бах! Брызнули, посыпались осколки, пошла пена. Он выиграл несколько мгновений. Метнулся к двери, оттянул задвижку. Я успела только почувствовать, как он на бегу цапнул меня за руку, потащил. Сатиры хапнули воздух. Увы, не только. С лопнувшей нити, как крупный град, посыпался жемчуг. Но уже на шум бежали лакеи. А нам под ноги летели ступени черной лестницы.

...Потом косо бил в лицо снег. Истуканом сидел толстозадый лихач. Мы оба трясли плечами от холода. Медвежья полость грела. Но не так, когда вы сразу до смерти напуганы, все еще пьяны и уже без шубы морозной петербургской ночью.

Я не выдержала и захохотала. Он тоже.

Мы обнялись, чтобы согреться друг о друга. Некоторое время слышали только, как равномерно бьет копытами рысак. Вдыхали запах коньяка и шампанского, вырывавшийся облачками из наших ртов.

– Грустно, – вдруг сказал он.

– Из-за жемчуга? Не волнуйтесь. У «Медведя» обростили, не на Сенной. Жемчуг соберут лакеи, и управляющий будет ждать, пока вернется владелец. Владелица.

Я уже сама запуталась.

– Уф. Надеюсь, что нет. Матушка не выдержит, если узнает. А отец...

Помолчали. Лихач закладывал поворот.

– Грустно от несправедливости человеческой.

Так-так. Господин Чичерин успел вовлечь его в большевизм?

– И что с того, что кто-то любит иначе? – продолжал, стуча зубами, развивать свою мысль мальчик. – Однополая любовь – это одно, а любящие – это совсем другое.

– Он что, агитировал вас... в большевизм? Не верьте. Его интересуют деньги. Вы слышали, что случилось с московским миллионщиком Морозовым?

– Такими их природа создала, – словно не слышал он.

О. Похоже, напрасно мама и папа в особняке на Мойке будут ждать наследников – с одной стороны, и законных – с другой.

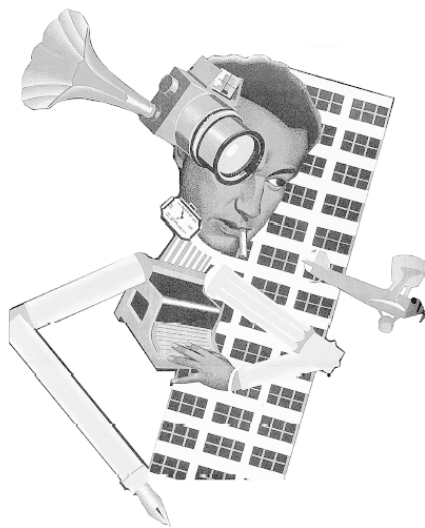
– Разве они виноваты? – рассуждал мальчик с пылом, от которого мне почему-то стало грустно. Наверное, оттого что я сама давно не гимназистка. Меня только на одно и хватило:

– Нет.

– Несправедливо.

Он еще долго бы рассуждал и требовал ответов. Но я устала, вдобавок от выпитого у меня разболелась голова.

Глава 5



Пиджак оказался на спинке кресла. Сложенный пополам, с завернутыми внутрь рукавами. Ровно так, как он его вчера бросил.

Так и должно быть, когда живешь один. Все вещи находишь там и так, как их сам же оставил.

Но это-то и было странно. Потому что каждое утро Зайцев – где бы ни бросил вечером – находил пиджак на стуле. Проветренным, расправленным, выбитым и вычищенным либо «моей нянькой», либо «моей кухаркой». Бросал мятым, заляпанным, пыльным. А находил – Самый Чистый Пиджак Советского Союза.

Вчерашний хлеб тоже не был нарезан. А лежал там, где выложил его Зайцев, – в газете на столе. И это была вторая странность. Хозяйства у Зайцева не было, и «нянька» с «кухаркой» остервенело набрасывались на то небольшое, что могли сделать: брать у него деньги просто так, задаром спать у Паши в углу им было совестно.

А теперь пиджак и хлеб лежали нетронутыми.

На сердце у Зайцева сразу стало так тошно, точно через минуту предстояло умереть. «Соседи стукнули – и ночью забрали».

Вышел на общую кухню за кипятком. Соседки пожелали «доброго утра». Одна вешала белье. Другая варила кашу. Третья караулила кастрюльку с бигуди. За развешанными простынями слышалось «вжик-вжик-вжик» – кто-то чистил обувь. «Не насри мне тут смотри. Ваксой-то. Брызги вон летят», – пробурчала невидимой щетке соседка: не злобно – устало. Зайцев посторонился: пропустил соседа с дровами. «Добренькое утречко». Отозвался: «Доброе». И подумал: «Кто-то из них – стукнул». И двух женщин, сбегавших из голодающей деревни в город, все-таки настигла злая доля. А мальчик? Взяли с матерью и в детдом теперь... Не пожалели, с отвращением глядел он на хлопочущих соседок. С виду человек. Но только с виду. Тронь – ощерится. Полезет из человеческой оболочки чудище.

– Ты чего, товарищ Зайцев? – сердобольно удивилась соседка с пустым тазом в руках.

– Что?

– Больной какой-то на вид. Выпимши вчера был, что ли?

Он еле сумел выдавить:

– Нет.

«Кто-то из них – донес». Написал донос, погубил двух женщин, ребенка. И живет дальше, как ни в чем не бывало. Здоровьем моим интересуется. «И я никогда не узнаю кто». Он прислонился лбом к дверному косяку. Желудок схватило ледяной коркой. «А Паша?!» Обе крестьянки и мальчик спали в ее дворницкой комнатке. Если взяли ночью, то у Паши. А если и ее...

– Вы хорошо себя чувствуете? – тут же отозвалась другая. И даже «вжик-вжик» прекратилось: сосед показал из-за простыней красную рожу и оказался слесарем Курочкиным. Васильковые глаза его тоже глядели сочувственно:

– Ты чегой, Василий, правда, што ль?

– Вот прицепились. Устал человек, – отозвалась соседка, помешивая бигуди. – Не в конторе штаны просиживает.

– Не обижайся, товарищ Зайцев. Но что-то ты правда зеленый.

– Отлично себя чувствую. Лучше не бывает.

И вышел, забыв, что собирался греть воду.

Хлопотать? Звонить? Куда?

Пройдусь пешком, решил он, спускаясь по ступеням. Мойка с ее неровной и одновременно стройной набережной всегда успокаивала, проясняла мысли... Или наоборот – поступить, как он сам совсем недавно советовал бывшему военному ветеринару? – бросить всё, не заходить больше в квартиру – сесть на первый попавшийся поезд, и...

Толкнул дверь – в утренний свет, в воздушный простор набережной. Поодаль, высоко над крышами сверкал на солнце бронзовый шлем Исаакиевского собора.

Паша нашла у парадной. В дворницком фартуке, при бляхе. Стуча по дну, вытряхивала ведро в бак. Зайцев так удивился, что даже не смог обрадоваться.

– Привет, Паша.

– Здорово. На службу чешешь?

– Не. Бросил я ее, Паша. Скучно.

Ведро остановилось.

– Чего я там хорошего, красивого вижу?

Недоверчивый взгляд – ждет продолжения.

– В цирк решил поступить.

Паша усмехнулась. Покачала неодобрительно головой:

– Треплешься.

И не дожидаясь ответа:

– Да они тя допоздна ждали. Подосвиданькаться чтобы. Я им: не надо. Последний день, што ль? Служба у него: он, может, сегодня в ночь ушел. Не поминайте лихом. Идите уже с богом.

– Куда?

На сердце отлегло. Паша волокла бак, рассказывая на ходу:

– Да место приискали. Семья с детками. На Петроградке. А у других старуха лежащая, в Озерках. Им сиделка нужна была, и мальчишка не помеха.

От сердца разлилось тепло. И оно сразу перемешалось с жаром стыда: а думал на соседей.

Паша остановилась, вытерла руки о фартук. Запустила руку в карман, выудила:

– На вот те. Передать велели. На вечную добрую память.

На большой грязной ладони был корявый, слегка смявшийся в Пашином кармане пластилиновый слоник, весь в маленьких отпечатках пальцев. Точнее, слониха – знаменитая ленинградская Бетти: Сашка с матерью успели побывать в зоосаде, доселе невиданный зверь поразил мальчишку.

Зайцев взял.

– Ну что ж. Конец Самому Чистому Пиджаку Советского Союза. Эх, недолго ходил я женихом. А, Паша? ...Только ты вот что: больше так не делай. Предупреждай.

Паша помолчала. Потом поняла, что он имел в виду. Ей не впервой было отпирать ворота ночному автомобилю, показывать, где нужная квартира, выступать свидетельницей при обыске. А потом вешать на опустевшую комнату замок.

– Вел, – сказала она. Подхватила бак и потопала по своим дворничьим делам дальше.

* * *

В кабинете все так же садились раз и навсегда заведенным порядком. Крачкин – всегда на диван, в одном и том же углу, так что Зайцев невольно гадал, не образовалась ли там лунка по форме крачкинского зада. Серафимов тоже облюбовал диван, но сиденье было табу, зато подлокотники годились оба. Но сейчас он сидел подальше от Крачкина. Самойлов плюхнулся на привычный стул. Нефедов влился в бригаду последним – и получил подоконник. Зайцев вдруг подумал: а ведь если что, Нефедов выскользнет через окно и уйдет по карнизу, белкой сползет по водосточной трубе, кошкой удерет в чердачный лаз. Нефедов глядел обычным сонным взглядом – на всех и в никуда, но Зайцев видел: тело собрано. Отогнал эти мысли, заговорил:

– Так. Значит, из сухих фактов у нас пока только время смерти и орудие убийства. Это ровно на два факта больше, чем безнадежно.

– Цапки фукнули – тоже факт.

– А вот это, Самойлов, – повернулся к нему Зайцев, – пока еще не факт! Их нет там, где показала свидетельница, они должны были быть. Но украли их или Варя сама перепрятала, мы не знаем. Может, она их вообще кому-то подарила!

– Племяннице из Бобруйска, ага, – не удержался Самойлов.

– Кстати, билет, – отозвался из своего угла Крачкин.

Расправленный пинцетом трамвайный билетик Крачкин уже пропустил через пары йода, чтобы нарисовались «пальчики». Но довольным не выглядел.

– Ничего? – все же уточнил Зайцев.

– Смазанные.

Прежде чем выбросить или обронить, билетец скатали в твердый шарик.

– Вот если бы он его просто смял и бросил, – размечтался Крачкин.

– Или она, – подал голос Самойлов.

– Женщина? – пробормотал Зайцев. – Маловероятно. Чтобы так нож вогнать, сила нужна.

– Или страсть, – не сдавался Самойлов. – Бабы баб чаще всего пыряют. Или травят.

– А с чего мы вообще решили, что билетик этот преступник, а не честный гражданин обронил?

– Мы ничего не решили, – задребезжал Крачкин: он нашел билет, он обратил на него внимание и потому принял экивоки на свой личный счет. – Проверяем все попавшие в поле зрения факты. Наука покажет: честный там гражданин или преступник.

– ...преступница, – веско поправил опять Самойлов.

Зайцев это отметил:

– Ты что-то сегодня свирепо против прекрасного пола настроен. Что у тебя на уме, Самойлов, рассказывай.

– Не у меня, а у нас. И не на уме, а в коридоре. Профессорша сидит. Которая маникюрша. Любопытный кадр.

– Понял, Самойлов. Сейчас закончим здесь и вместе с профессоршей-маникюршей побеседуем.

Самойлов кивнул и с виду потерял интерес к совещанию: вытащил из-под задницы газету, тряхнул листы, отгородился. Неприятности в германском рейхстаге, похоже, продолжались, успел заметить на первой странице Зайцев. Заметил и отмел.

– А какие маршруты трамвайные поблизости дома убитой проходят, мы уже знаем? – продолжал он.

Никто не ответил, не повернул головы. Зайцев понял, кто имелся в виду. Посмотрел на Нефедова, тот зашуршал своей бальной книжечкой для записи танцев и кавалеров.

– Двойка, тройка...

– И туз? – перебил Крачкин, искушение сострить было слишком велико. Нефедов ухом не повел:

– ...и тридцать первый.

– Отлично. Выясни, Нефедов, как эти маршруты идут. Да обрати внимание на торгсины и комиссионки по этим маршрутам. Возьми списочек пропавших цацок, который соседка Синицына составила, да ориентировочку в торгсинах и комиссионках дай. Маршрутами этими не ограничивайся. Но с маршрутов начни.

– Думаешь, он дурак такой...

– Или дура, – подал голос из-за газеты Самойлов.

– Не обязательно дурак. Но и не профессор тоже. Или профессорша... Тьфу, Самойлов, из-за тебя теперь и я про бабу думать стал.

Самойлов отвел от лица газетный лист и показал довольную ухмылку.

– Если только... – уже размышлял вслух Зайцев. – Если только сразу в частные руки не уплыли побрякушки.

– Быстро больно. Вещи, судя по описанию, крупные, броские. Не дешевые. Покупателей на такое найти...

Зайцев не дал Серафимову договорить:

– Постой. Мне на ум сразу пришло – ты про «быстро» совершенно прав. И про покупателей тоже. И про то, что вещицы – броские. Вот я и думаю: не нашел ли злоумышленник наш... Или, Самойлов, злоумышленница. ...Не нашел ли он сперва – интересанта. Покупателя. Или покупатель – его нашел.

– То есть?

– Что, если Варины цацки под заказ красть наметили? А саму Варю шлепнули только потому, что дома оказалась. Сказали же соседи: из квартиры не выходила.

– А нож? – подал голос Крачкин.

Четыре пары глаз внимательно смотрели на него. Цепко, внимательно: охота началась. Зайцев ощутил нечто вроде нежности: «Мы можем ненавидеть друг друга, подозревать, презирать. Но вместе работать – это сильнее страсти, больше, чем любовь».

– Меня, как всегда, занимает психология.

– Давай, Крачкин.

– В преступной жизни имеется элемент профессии. Легко решается на убийство тот, кто уже убивал. А грабитель, вор, тот с малой вероятностью расширит свое амплуа. Он скорее сбежит, а не убьет, если операция пошла не по плану.

– Да, ты прав, – согласился Зайцев. – Соседи нож не опознали. Вполне вероятно, что преступник принес его с собой. Если принес, то был готов к убийству, а значит, не первый раз убивал.

Он заметил, что при этих словах Нефедова слегка передернуло. А Крачкин скептически вскинул брови.

– ...Знаю, Крачкин, не сходится! – заключил Зайцев.

– Это почему это?

Ответил Крачкин:

– Потому что, Самойлов, ты лясы точил, пока мы там с товарищами мебель двигали.
– При чем здесь мамины галоши? – обиделся тот. – Я, между прочим, тоже работал.

Зайцев пропустил их пикировку мимо ушей:

– Видишь ли, Самойлов, срач, там, конечно, неописуемый. Но по-своему упорядоченный. Если бы борьба была... Там бороться-то негде. Мы сами с трудом втиснулись. Места живого нет. Да и лежала убитая больно смиренно – будто во сне ее смерть застала.

– А если была борьба? И мебели раскидали? А только потом кто-то все поставил на место? А что? Ведь прикрыла Наталья убитую шалью и разбитое яйцо прибрала. Может, и убитую поприличнее положила – тоже она.

– Молодец, Сима. Всегда все подвергай сомнению. Смотри с разных сторон. И сопоставляй. Только мой ответ: нет. Шалью, может, и прикрыла, яйцо прибрала, позочку хозяйке поправила, – мы об этом с ней еще потолкуем. Но мебель – никто не трогал. Ты вспомни, какая пылища на всем лежала. Махрами свисала. Нет, эти вещи давно никто с места не сдвигал.

Все помолчали. «Ангел родился», как говорили в Питере, и первым ожил Серафимов:

– Кто ж это цацки ее так страстно захотел, что человека за них порешил?

– А это, Сима, очень большой, хороший и насущный вопрос, – поддержал Зайцев. – Но это кошка рыбу всегда с головы ест. А мы начнем не с головы, которая это затеяла, а с рук, которые преступление совершили. Посмотри-ка наших старых знакомых: кто в картотеке числится, но в настоящий момент на свободе временно гуляет. Пошли, Самойлов, к профессорше маникюр делать.

Все поднялись. Сполз с подоконника Нефедов.

– А знаешь, Сима, – спохватился Зайцев, когда тот уже показал затылок. – Может, и ты тоже прав.

– Я часто прав, – проворчал он. – Ты что сейчас имеешь в виду?

Крачкин бросил выразительный взгляд, поднял перед ним большой палец: мол, браво, моя школа. Серафимов хлопнул его по руке, убирая: мол, нечего пальцами тыкать.

– Кошки, они тоже не дуры, когда с головы начинают. Верно, по описаниям цацки броские...

– Если только мадам Синицына не преувеличила, – встрял Крачкин. – Что простой бабе царские уборы, то работнику торгсина – дутое колечко.

– Психология, да, Крачкин. Но допустим, Синицына не преувеличила. Может такое быть? Может. Если она не врет, она эти цацки часто видела, присмотрелась, пообвыклась – уже не ослепляли они ее красотой своей и богатством. А судя по описаниям подробным, не врет. Хорошо рассмотрела, хорошо знала. ...Не всегда же убитая затворницей была. Что, если помнил ее кто по прошлой жизни? Как она в уборах своих тогда фигурировала.

– Театр, ресторан... – начал перечислять Крачкин. – Только так полгорода в подозреваемые записать можно.

– Ты, Крачкин, меня нарочно пугаешь, – пихнул его локтем Серафимов. – Что ж теперь, пол-Ленинграда проверять?

– А ты, Сима, учись, – наставительно перебил Зайцев. – Мы с тобой на горшке сидели, когда Крачкин уже за бандитами бегал. И старую жизнь он лучше нас знает.

– Разумеется, – надменно процедил Крачкин.

– Не пол-Ленинграда, – продолжал Зайцев. – Кокнуть Варю мог кто угодно. А вот позволить себе такие финтифлюшки и сейчас может не любой. Может, он их коллекционирует. Может, бабенка его в комиссионки чаще обычного навевается и без покупок не уходит. На все это деньги нужны. Поводи носом, Сима. Вдруг золотой песочек нас куда приведет.

– Господи, – зарокотал из коридора Самойлов. – Как же я это ненавижу. Еврейские проходы. Уже встали все, польты натянули. Приветов передали, попрощались. А все в дверях стоят – и лалалалала.

– Договорились, Сима? Ура. Удачи. А ты Нефедов – на трамваях кататься... Всё, разбежались. Самойлов, лечу на крыльях любви. Где там маникюрша твоя? Веди.

– А я? – крякнуло вслед.

– Крачкин! Да тебе ж самое сложное! – Зайцев хлопнул себя по лбу. На самом деле, для старого сыщика предназначалось дело, для которого не требовалось бегать, ходить, толкаться в душном вагоне. – Надо установить круг знакомств нашей затворницы. Так что тебе – самое интересное: читать чужие письма. Которые Сима в панталонах у актрисы нашей отрыл.

– Ни за что! – донеслось ему вслед. – Я джентльмен.

Донеслось – и утонуло в гоготе Самойлова.

Глава 6



Зайцев совершенно иначе представлял себе маникюршу. Точнее, совсем не представлял: так, нечто развратное. И непременно губы бантиком, густо накрашенные, как будто наклеенные на лицо.

Перед ним сидела прямая седеющая дама в белой блузке с пожелтевшими кружевами. Волосы были взбиты надо лбом и увенчаны на макушке маленькой тугой дулей по моде, которая лет тридцать-сорок назад требовала к такой прическе пышных рукавов-буфов и талии-рюмочки.

«Фасон ее молодости. Значит, сейчас ей лет шестьдесят», – прикинул он. Губы цвета сырого мясного фарша. И в пенсне. Директриса женской гимназии, да и только.

Зайцев вспомнил, что она – еще и профессорская вдова. Здесь противоречия с обликом не было.

Руки она выдвинула коробочкой перед собой. Так полагалось воспитанным девицам – тоже лет сорок назад. Зайцев отметил ее розовые полированные ноготки, каждый обточен в форме миндаля. Сразу и реклама собственных услуг, и давняя привычка к ухоженности. Он перехватил взгляд дамы на свои лапы и невольно подвернул пальцы. Блеснули стеклышки пенсне. Она подняла взгляд ему на лицо.

– Господи, – молвила она, по-петербургски четко отделяя слово от слова, букву от буквы. – Конечно. Же. Нет.

– Я просто подумал... – наивно пробормотал Зайцев. Перед такой прикинуться дурачком – самое то. Начнет с высоты своего превосходства учить уму-разуму и оглянуться не успеет, как уже выболтала в разы больше, чем намеревалась сказать, вернее, утаить. – Я просто подумал, что раз она из дома не выходила, то маникюр делать зачем? Кого удивлять?

Он не ошибся. Ледяной взгляд. Зайцев ответил круглым взором идиота. Думал: «Любовник. Для кого же еще она когти свои точила... Ну давай, милая, рассказывай». Обычные письма под панталонами не хранят.

– Я ничего не понимаю в женском поле... В дамском... В артистках... – бормотал он. Самойлов держал мину игрока в покер; попросту говоря, делал «морду кирпичом». Только зря старался. Гарпия не удостоила его и взглядом.

– Вот именно, – холодно отчеканила она. И соизволила пояснить: – Настоящая женщина и настоящая артистка не позволит себе неухоженные волосы, зубы, ногти, подмышки и белье, даже если она не собирается покидать собственный будуар.

«Это явно больше, чем я хотел бы знать о женщинах, – иронически признался себе Зайцев. Особенно насчет подмышек». А вслух удивился:

– Почему?

Вздых.

– Если вы этого не понимаете, мне вам не объяснить.

– А вы попытайтесь, – ласково предложил он, напряг память: – Елена Львовна. Я ведь не из любопытства интересуюсь. Не секреты женской красоты и личной жизни выведываю. Я убийцу ищу.

За ледяным взглядом мелькнуло смущение:

– Да-да. Разумеется.

Коробочка разомкнулась, рука нырнула за платочком, и Зайцев заметил, что холёные пальцы дрожали.

– Вы часто виделись? – сочувственно спросил он.

За стеклышками пенсне начали набухать, наливаясь слезы. Под стеклышки скользнул угол платка, деликатно промокнул предательскую влагу.

– Сразу после массажа и косметички, то есть Олечки, она через дверь от меня живет. Каждый второй день, – из-под платочка, в нос бормотала Елена Львовна. Но хорошее воспитание не позволяло ей высморкаться перед двумя посторонними мужчинами.

– У человека не растут так быстро ногти! – не выдержал Самойлов. Зайцев для порядка пнул его под столом ногой. Но вопрос был кстати.

Вдова уже справилась с собой и опять была холодна:

– Нет. Не растут. Но ванночку из теплого масла и трав необходимо делать через день. А в дни между ванночками – перчатки с гусиным жиром.

– А это зачем? – изобразил удивление Зайцев. Та вздохнула, миг подумала: говорить? Не говорить? Кивнула сама себе.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.